

Капитанша (1855)

Шевченко Тарас Григорович

15 марта

В 1845-м, в том самом году, когда наводнением до половины разрушило город Кременчуг, а Крюков остался невредим, а в Киеве так даже к Братскому монастырю вода поднялась, — так в этом критическом году, в конце марта месяца, выехал я из Москвы по Тульскому, тогда только что открытому шоссе. Ехал я (заметьте, на почтовой перекладной телеге) две недели до Тулы, да до Орла неделю, итого три недели. А что я вытерпел в эти три недели, так этого никакое перо не в силах описать. Одно только скажу вам, что я не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что стоит тарелка щей и ломоть хлеба на почтовой станции. То, будучи практически знаком с комфортом почтовых станций, я, выезжая из Москвы, нагрузил порядочную корзину всяким соленым и копченым добром. И что же! Всю эту благодать я должен был бросить на второй станции, т. е. в городке Подольске, потому что все это, и да[же] я сам, окунулося несколько раз в грязной снежной воде. Благоразумие требовало возвратиться в Москву, но поди же ты, толкуй с упрямой головою (между нами будь сказано, я таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, т. е. в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли). Итак, от Подольска до Тулы пропутешествовал я на пище святого Антония, а от Тулы до Орла на той же самой пище, потому что город Тула хотя и славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться; словом, я в Туле, и то с трудом, нашел соленого судака, привезенного с берегов синего Дона, или с берегов Урала, или же с берегов матушки Волги. С таким-то провьянтом доехал я до города Орла. Остановился я было в гостинице, тут же около почтовой станции, да на другой день как пересчитал свою казну, так только ахнул! У меня всего-навсе было наличных трехрублевая депозитка да мелочи два четвертака, а из Москвы я взял с собою ровно сто рублей серебром; с такою суммою как не доехать из Москвы до Киева? А вот же случилось так, что я только до Орла доехал, а там, т. е. в Орле, и сел, как рак на мели. Я призадумался не на шутку. И после сугубых размышлений пошел я искать постоялый двор. Опять горе — Ока и Орлик затопили не только все постоялые дворы, но и большую часть самого города. Возвратился я в свой номер еще грустнее, чем из него вышел; в раздумьи сел у окна и смотрю на улицу, а по улице плетется запряженная парю невзрачными лошадаками большая крытая телега, а около нее с кнутиком в руке идет небольшого роста, пузатенький, с рыжей бородкой мужичок. «А, приятель! — думаю себе, — тебя-то мне и нужно!» Я отворил окно и крикнул:

— Эй! Мужичок! Молодец! — Мужичок остановился, снял шапку и, посмотревши на окна гостиницы, увидел меня и сказал:

— Ты, барин, кличешь?

— Я.

— А что те надоть? — спросил он.

— А вот что. Ты извозчик?

— Вестимо, что извозчик!

— А которой губернии?

— Тутошной губернии, барин. А уезда Митровского.

— А не желал бы ты, любезный, на празднике дома побывать? (Это было на шестой неделе Великого поста.)

— Как не желать, барин. Вестимо, желаю; да как порожнем пустишься один?

— А хочешь, я тебе седока найду до Глухова?

— Как не хотеть. Да мне, пожалуй, хоть и до Москвы.

— Да ты знаешь ли, где Глухов?

— Как не знать. За Митровским. Мы и в Киеве бывали не раз.

— Много ли же ты возьмешь?

— С пуда, что ли, барин?

— Пожалуй, хоть и с пуда.

— По два с полтинкой, барин!

— Хорошо, согласен. Только с тем, чтобы деньги получить в Глухове.

— А задаточку, барин?

— Да там же, в Глухове, и задаточку.

Мужичок почесал в затылке и, посмотрев на меня с минуту, спросил: «А когда ехать, барин?»

— Да, пожалуй, хоть сейчас.

— Сейчас, барин, нельзя. Маненько лошадок покормить надоть.

— Да где же ты их кормить станешь? Как тебя найти?

— Да здесь же, на улице. Вишь, постоянные дворы все залило водою, где кормить станешь? — И, говоря это, он приворотил к забору и начал откладывать лошадки. Я вышел к нему на улицу, осмотрел телегу. Телега была поместительная, крытая сплошь, вроде жидовской брички.

— Какой же ты товар перевозишь в этой посудине? — спросил я его.

— Да какой товар? Вот теперь хоть и вашу милость повезу. А сюда какую-то барыню привез. Из Митровска. К детишкам, что ли, приехала. В училище каком-то али корпусе, говорит. Да уж и злющая же, Бог с ней, то и дело дерется с девкой.

— А как думаешь, выедем сегодня али не выедем? — Мужичок посмотрел на солнце и сказал:

— Лучше, барин, переночуем.

— Пожалуй, переночуем.

И я от нечего делать пошел шляться по городу. Проходя мимо табачной лавочки, я увидел между выставленными на окне [товарами?] с разными изображениями табачные картузы и гармонику. Я не предвидел большого разнообразия в моем путешествии. Дай-ка, мол, я куплю гармонику, буду хоть детей спотешать на по[стоялых] дворах. Купил я гармонику и возвратился на квартиру. А на квартире, отдохнувши после прогулки, я задал себе такой вопрос: а что если у моего приятеля в Глухове, на которого я надеюсь, как на каменную стену, не случится денег, что я тогда стану делать? Правда, у меня в Глухове есть и другой приятель, на которого наверняк можно рассчитывать, потому что он одной фарфоровой глины продает тысяч на сто в продолжение года, так как на него не понадеяться? Но дело в том, что он пан на всю губу, как говорится. У него к обеду иначе выйти нельзя, как во фраке. А это-то мне и не нравилось. Оно и в сам деле смешно: жить в деревне и наряжаться каждый день, — черт знает что! Хорошо еще, ежели похороны, или свадьба, или другой какой семейный праздник. А так — это больше ничего, как самое нелепое подражание аглицким лордам.

Итак, по долгом размышлении, я написал письмо в Киев и просил, чтоб выслали мне денег в г. Глухов, а адресовали на имя не того приятеля, что продает фарфоровую глину, а на имя соседа его, ротмистра в отставке такого-то.

Устроивши все, как следует порядочному человеку, я на другой день до восхода солнца погрузился в фургон и благополучно прибыл на постоялый двор, отстоящий от города Орла двадцать пять верст.

Здесь было бы очень кстати описать со всевозможными подробностями постоялый двор; но так как это *tableau de genre* описывали уже многие, не токмо прозою, но даже и стихами, то я и не дерзаю соперничать ни с кем из этих досужих писателей, ни даже с самым гомерическим описанием в стихах постоялого двора, напечатанного, не помню, в каком-то журнале, где и сравнивается это описание с «Илиадою».

В г. Кромы мы прибыли ночью и до рассвета выехали; следовательно, о городе Кромах мне тоже нечего сказать, разве только, что за тарелку постных щей с меня взяли полтину серебра, собственно за то, что я не поторговался прежде. Вот все, что я могу сказать о г. Кромах.

Солнце уже довольно высоко поднялось, когда я проснулся в своем фургоне. Проснувшись, я высунул голову посмотреть на свет Божий и спросить у Ермолая (так звали моего извозчика), далеко ли до постоялого двора?

— А вот спустимся за горку, там будет и постоялый двор.

Я посмотрел вокруг, думал, что и в самом деле где-нибудь увижу хоть маленькую горку, — ничего не бывало: равнина, однообразная равнина, перерезанная черною полосой почтовой дороги, утыканной кой-где раkitником и пестрыми столбами, именуемыми верстами.

Незавидный, правду сказать, пейзаж. И если принять в соображение мое небыстрое путешествие, то он покажется даже скучным. Что будешь делать? Читать нечего. Думать не о чем (в то время я повестей еще не сочинял). Вот я полежу, полежу в фургоне, да и вылезу из него, пройду версту-другую пешком, да и опять в фургон, поиграю на гармонике, а Ермолай попляшет. Он почти не садился на облучок, но постоянно шел себе с кнутиком около лошадок, и когда я наигрывал на гармонике, то он принимался плясать. Сначала тихо, потом быстрее и быстрее, а когда приходил в азарт, то, обращая ко мне, почти вскрикивал:

— Почаще, барин! Почаще, барин!

Я ему и почаще заиграю, а он почаще припляшет, а там, глядишь, и постоялый двор.

Так-то мы с Ермолаем коротали и время, и дорогу до самой Эсмани (первая станция Черниговской губернии). Не успеешь переехать границу Орловской губернии, как декорация переменялась. Вместо раkitника по сторонам дороги красуются высокие развесистые вербы. В первом селе Черниговской губернии уже беленькие хатки, соломой крытые, с дымярами, а не серые бревенчатые избы. Костюм, язык, физиономии — совершенно все другое. И вся эта перемена совершается на пространстве двадцати верст. В продолжение одного часа вы уже чувствуете себя как будто в другой атмосфере. По крайней мере, я себя всегда так чувствовал, сколько раз я ни проезжал этой дорогой. Едучи из Киева через Чернигов, хотя и чувствуешь себя по ту сторону Десны уже не в Малороссии, но там все-таки есть хоть небольшая интонация, а между Эсманью и [Глуховым?] совершенно никакой.

Проехавши версты две или три [за] Эсмань, я увидел вправо, недалеко от дороги, уже не серый бревенчатый, с крепкими воротами постоялый двор, а белую, под соломенной крышей, между вербами, корчму. Вид этой первой корчмы мне напомнил еще в детстве слышанную мною песню, которая начинается так:

Ой у поли верба,
Пид вербою корчма.

Засветла можно было бы еще приехать в Глухов, но мне так понравилась эта корчма, что я просил Ермолая остановиться в ней и переночевать, на что он охотно согласился, потому что в корчме, как он говорил, все дешевле, нежели в городе.

Поравнявшись с самой корчмою, мы остановились, и я увидел человека, не обращавшего на нас совершенно никакого внимания. Человек этот одет довольно странно: в серой солдатской шинели, подпоясанный, вместо пояса, свитым из соломы жгутом, в черной бараньей шапке и с граблями в руках. Я вылез из телеги и, подойдя к нему, спросил:

— Что, ты хозяин?

— Авжеж хозяин, — отвечал он, едва взглянув на меня.

— Что же, у тебя сено есть?

— Авжеж есть.

— И овес есть?

— Авжеж есть.

— А поужинать будет ли что?

— Авжеж буде. — И он обратился к извозчику и совсем неласково сказал ему:

— Чого ж ты там стоиш, московська вороно, чому не заизжаеш? — И он пошел отворять ворота корчмы.

Мне понравился мой оригинальный земляк как содержатель заезжего дома на большой дороге. Особенно после орловских дворников, которые встречают тебя за полверсты, снимают шапку, кланяются, божатся, что у них все есть, кроме птичьего молока, а на поверку окажется только овес и гнилое сено, а поужинать или пообедать, особенно в Великом посту, и не думай: подадут тебе щей с вонючим постным маслом, да и сплуют полтину серебра, коли вперед не поторгуешься.

Пока несловоохотный хозяин отворял и затворял ворота своей корчмы, я пошел размять ноги, онемевшие от долгого сиденья.

Корчма была тщательно выбелена, а около окон обведено было желто-красноватой глиной; примыкающий к корчме сарай, или так называемая стодола, тоже аккуратно вымазана желтой глиной; вообще вид корчмы показывал, что через несколько дней будет у людей великий праздник. По другую сторону корчмы я увидел изгородь, примыкавшую к самому строению, — небывалая вещь около корчмы. Я подошел поближе. За изгородью две женщины копали гряды, и одна из них что-то рассказывала, а другая так звонко, чистосердечно смеялась, что я сам невольно рассмеялся. Та, которая рассказывала, была женщина уже не первой молодости, а которая смеялась — только что расцветшая чернобровая красавица и, казалось, была дочерью первой, а не подругою.

Не успел я рассмотреть их хорошенько и послушаться гармонического смеху красавицы, как из-за угла корчмы показался сам хозяин и позвал их в хату варить вечерю. Я и себе последовал за ними в хату. У дверей встретился я с хозяином. Он мне пожелал доброго здоровья и просил войти в светлицу. Я вошел в просторную, чисто выбеленную хату, разделявшуюся во всю длину ее, как стеною, кафельного печью. Около стен кругом стояли лавы, или скамейки, а между ними возвышался дубовый, чисто вымытый стол. На стене в углу висел образ, украшенный свежю вербою и засохшею мятой и васильками.

— Просымо садыться, — сказал хозяин, снимая шапку. — Здесь мы сами живемо, — прибавил он, — а для такого народу у нас есть другая хата.

— А что, хозяин! — спросил я его, садясь на скамье. — Можно у вас достать водки?

— Чому не можно! Вам полквартиры чи всю квартиру? — спросил он.

— Хоть полквартиры на первый раз.

— Добре, — сказал он и вышел из хаты. Вскоре возвратился он с рюмкою и графином. А за ним шла с тарелкою и полотенцем в руках веселая огородница. Это была самая очаровательная брюнетка, шестнадцати или пятнадцати лет. Стройная, гибкая, как молодая тополь. Волосы ее, густые, блестящие, были повязаны черной лентой и украшены свежим зеленым барвинком.

Она покрыла край стола полотенцем, поставила тарелку с какой-то соленой рыбой, положила на стол два куса белого хлеба и, улыбнувшись, удалилась из хаты. Проводивши глазами красавицу, я обратился к хозяину:

— А что, земляк, не выпить ли нам по рюмке водки?

— Чому не выпить? — отвечал он и сел на скамейке.

Я выпил водки и хозяина попотчевал. Немного погодя, я еще попотчевал его и спросил:

— Ты, кажется, хозяин, служил в солдатах?

— Авжеж служил.

— То-то ты так важно и по-русски говоришь!

— Отак пак! У Владимирской губернии квартировали шесть лет, та шоб не выучиться говорить по-русски.

Добрjak не заметил моей шутки. За то я ему налил еще рюмку водки.

— А что, я думаю, ходил и под француза? — Этот вопрос я сделал ему потому, что заметил у него голубую ленточку, нашитую на шинели.

— Авжеж ходыв! — ответил он.

— Немало же ты их, проклятых, пересажал на штык?

— Ни одного.

— Отчего же это так случилось? — не без удивления спросил я его.

— Я был музыкантом!

Это меня еще больше удивило, потому что в физиономии его и вообще в приемах не заметно было ничего такого, что бы обличало в нем виртуоза.

— На каком же ты инструменте играл? — спросил я его.

— На барабане, — отвечал он, не изменяя тону речи.

«И на этом звучном инструменте едва ли ты отличался», — подумал я, глядя на его честный выразительный профиль. А он сидел себе на скамье, согнувшись, и болтал ногами, как это делают маленькие дети. Я рассчитывал (и довольно основательно), что услышу от него о каких-нибудь богатырских подвигах во время стычек, о какой-нибудь частной проделке, о которой нигде ничего не прочитаешь, да[же] и в «Записках русского офицера». Ан не тут-то было: он был музыкантом и, вдобавок, не лгуном. Но я все еще не терял надежды. Предложил ему рюмку водки, на что он охотно согласился, и, когда он полосую шинели вытер свои белые усы и крякнул, я спросил его как бы случайно:

— А в немецких землях и во Франции таки довелось побывать?

— Довелось?.. У самой Франции два года кватывалы.

— Как же ты разговаривал с французами?

— По-французки, — отвечал он, не запинаясь, и, немного погодя, продолжал: — Я и по-французкому, и по-немецкому умею. Еще в десятом году, когда йшли мы из-под турка, одын венгер выучив мене, царство ему небесное. Я, сказавши правду, по-всякому умею, — прибавил он самодовольно. Например, стоимо мы лагерем-таки под самым Парижем. Тут и пруссак, тут и цысарець, и англичанин, як той рак червоный, и синеполый швед. И Бог его знае, откудава той швед прыйшов! До самого Парижа его не видно было, а тут мов из земли вырос. От воны гуляють по лагерю та меж собою по-своему розмовляють. «От, — говорят, — дасть Бог, завтра вступимо в Париж, а там, камрад, и махен вейн, и закусымо, камрад, и мамзельхен либер, и всего вволю». А я хожу соби меж нымы, ус покручую да думаю: «Не хвалитесь, камрады, побачым, що з того буде!» Через день чи через два одилы нас, выстроилы, перевелы через Париж церемониальным маршем, не дали и воды напыться — уже верст 20 за Парижем дали нам дух перевесты. От я подхожу до цысарця та й и говорю ему по-цысарскому: «А що, камрад, Париж важный, — говорю, — город, и вейну, и мамзельхен, всего, — говорю, — вволю».

— О, дер дейфель! — говорит. — Чтоб он им дотла выгорив!

— То-то, — говорю ему по-царски, — не хвалиться было, идучи на рать...

— А что, земляк, есть какая-нибудь разница между французским и немецким языком? — спросил я его.

— Малность разницы! Так что ежели умеешь добре по-нимецки, то и с французом можно поговорить. Малность разницы, — прибавил он, покручивая свои белые усы.

В это время занавеска в нише отдернулась и вошла в комнату со свечой в руках та самая женщина, которую я видел мельком на огороде. Это была по-городскому опрятно одетая, уже немолодая женщина, высокого роста, с живыми черными и глубоко впалыми глазами и вообще приятным и выразительным лицом. Она поставила на стол свечку, взглянула на моего собеседника и, обратясь ко мне, сказала чистым великороссийским наречием:

— Не потчуйте его, сделайте одолжение, а то он вам и отдохнуть не даст. Иди-ка ты лучше ложися спать, — сказала она, обращаясь к нему.

— Мовчы ты, копытанша! ма... — и, минуту спустя, улыбнувшись, прибавил: — Матери твой чарка горилки!

Женщина молча посмотрела на него и скрылась за занавеской.

— Что это, жена твоя? — спросил я его.

— Жена, — ответил он.

— Зачем же ты ее зовешь капитаншею?

— Это я так, жартуючи... А по правде сказать, так вона и есть копытанша. Да еще не простая, а лейб-гвардейская, — прибавил он как бы про себя, и так тихо и скоро, что я едва мог расслышать и понять.

Меня сильно подстрекало расспросить у него, почему она капитанша, да еще и лейб-гвардейская. Но он так невесело опустил на грудь свои белы[е] усы, что мне казался всякий вопрос про капитаншу неуместным и даже дерзким. Недолго мы сидели молча. Из-за занавески явилась опять та же женщина и поставила на стол уху с какой-то мелкой рыбки, очень вкусно приготовленную. Я поужинал, поблагодарил хозяев и пошел в свой фургон спать. Долго я, однако ж, не мог заснуть: мне не давало спать слово «капитанша». Со мною, впрочем, это часто случается, да, я думаю, и со всяким. На каком—нибудь самом простом слове построишь целую драматическую фантазию не хуже прославившегося в этом фантастическом роде почтенного Н. К[укольника]. Так случилось и теперь. Слово «капитанша» разделилось у меня уже на акты, сцены, явления, и уже чуть-чуть не развязалась драма самой страшной катастрофой, как начали смежаться мои творческие вежды, и я заснул богатырским сном.

В продолжение моего путешествия от Орла до этой интересной корчмы я просыпался каждое утро в дороге. Догадливый Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить. Я вручил ему мою трехрублевую депозитку еще в Кромах, после дорогих щей, и он всю дорогу рассчитывался за съеденное и выпитое мною на каждом постоялом дворе, а [я] себе спал сном праведника и просыпался всегда в дороге. Просыпаясь под стук колес и легкое качанье телеги, иногда снова засыпал и просыпался уже на постоялом дворе.

После неоконченной драмы на слово «капитанша» проснулся я на другой день уже не рано и, к немалому моему удивлению, не чувствовал ни покачиванья телеги, ни холодного утреннего

воздуху; прислушивался и не слышал ничего вокруг себя, ни даже постукивания колес.

«Неужели мы уже проехали станцию? — подумал я. — Да нет, не может быть. Ведь мы должны быть теперь у приятеля моего в деревне около Глухова, а не на постоялом дворе. Да, правда, я ему вчера дорогу не рассказал, а он, дурень, не разбудил меня, когда из корчмы выехал». — Решивши так мудро сей вопрос, я снова было задремал, но Ермолай, вероятно, подслушал мое решение, подошел к телеге и сказал:

— Барин! а барин!

— Что, Ермолай? — отозвался я.

— Вы спите? — спросил он.

— Сплю, — отвечал я.

— Пора вставать.

— Хорошо, встану. Не случилось ли чего-нибудь?

— Ничего не случилось, слава Богу, все обстоит благополучно.

— Так что же! Ну, и пообедай с Богом!

— Какой тут обед, барин! У нас нечем и за вчерашний ужин расплатиться; я деньги все, и свои и ваши, израсходовал!

— Будто ничего не осталось?

— Ни копейки!

«Плохо», — подумал я и потом спросил Ермолая: — А лошади у тебя сыты?

— Лошади сыты, дворник ничего не знает, отпускает все, что ни спросишь.

— Хорошо. Поди же скажи ему, чтобы самовар нагрел, я сейчас приду.

Ермолай удалился.

В трактир в Туле приходит ко мне какой-то не совсем трезвый человек и предлагает новое одноствольное ружье за три рубля серебром. Я, чтобы отвязаться от него, посулил ему рубль. Он вышел было за двери, не сказавши ни слова. Немного погодя опять вошел в комнату, спросил меня, что я шучу с ним или сурьезно говорю. Я сказал, что сурьезно. Он немного подумал и сказал: «А коли сурьезно, так вот вам вещь, давайте деньги». Я отдал ему рубль, а ружье положил на столе, и не посмотревши даже на него хорошенько, как на вещь, совершенно мне ненужную. Мог ли я предвидеть тогда, что это ружье, почти насильно купленное, разыграет такую важную роль, какую я ему теперь назначил?

Вылез я из своей подвижной спальни, пошел к колодцу, умылся, охорошился кое-как и вошел в комнату. На столе уже стоял самовар, и вчерашняя капитанша вытирала чистым полотенцем большую фарфоровую чайную чашку. Я приветствовал ее с добрым утром, на что она мне отвечала тем же.

— А где же ваш хозяин? — спросил я.

— А он рано еще уехал к помещику, у которого мы эту корчму нанимаем.

— А как прозывают этого помещика, и далеко ли он от вас живет?

— Отставной ротмистр N. N., а живет он почти что около самого города.

«Да это и есть мой приятель, моя единая надежда», — подумал я и, обратись к хозяйке, спросил, как она думает, скоро ли ее хозяин возвратится назад.

— Я думаю, скоро, если его не задержит Виктор Александрыч. Ему там нечего долго делать — отдать деньги и получить бочку водки. Да вам что его дожидать, вы и со мною можете рассчитаться.

«В том-то и дело, что не могу», — подумал я и вслух прибавил:

— Мне бы хотелось еще раз с ним повидаться и побеседовать. Он должен быть добрый старик!

— Прекрасный человек! — с заметным волнением сказала она.

— Жаль, если я его не дождуся. А впрочем, мне торопиться некуда. Не хотите ли со мною чашку чаю вы[пи]ть?

— Благодарю вас покорно, мы уже чай пили, — [про]говорила она с едва заметным наклоном головы.

Мне чрезвычайно нравилось в этой простой женщине голос ее, ее простая, грациозная манера и самая безукоризненная чистота, начиная с головного платка до башмака. Пока я придумывал средство, как бы ее задержать в комнате, она сложила и положила на стол полотенце, а сама скрылась за занавеску.

Напившись чаю, я вышел на двор полюбоваться весенним апрельским утром, но это утро уже кануло в вечность, а место его заступил апрельский теплый, прекрасный полдень.

Я обошел кругом корчму и остановился у изгороди. За изгородью, как и вчера, копали гряды мои знакомки. Я обратился с вопросом к старшей.

— Что, это дочь ваша? — спросил я ее.

— Дочь! — отвечала она, но как-то несмело.

— А как ее зовут?

— Елена.

— Елена! — спросил я девушку. — Умеешь ли ты играть на гармонике?

— Нет, не умею, — отвечала она, запинаясь.

— А хочешь, я тебя выучу?

— А где же вы гармонику возьмете?

— Это не твое дело. Ты хочешь ли только учиться?

— Хочу, выучите! — сказала она, краснея.

Я вынес гармонику, и лекция началась. Ученица оказалась весьма понятною, чему мать ее заметно радовалась.

Мы так прилежно занялись гармоникою, что не заметили, как приехал хозяин домой и как, подходя к нам, крикнул:

— Отака ловысь! Люды добри до плащаныци знаменаються, а воны он що выробляють! — И, подойдя ко мне, взял у меня из рук гармонику, повертел ее в руках и сказал:

— Славна штука! Де вы ии купылы?

— В Орле! — отвечал я.

— И дорога? — спросил он, отдавая мне гармонику.

— Рубль серебра я запластил.

— Гм! — А ну, заграй ты, Олено.

Я подал девушке гармонику, и она взяла на ней несколько аккордов. Старик улыбнулся и, обращаясь ко мне, спросил:

— Чи не продажня у вас оця музыка?

— Продать-то я ее не продам, а когда хочет Елена, так я подарю ей эту музыку. — А ты, старина, коли хочешь, купи у меня ружье.

Старик задумался, а я продолжал: — Ружье славное, настоящее тульское.

— А на чорта оно мне, ваше тульское ружье, когда я и стрелять не умею?

Я отозвал его в сторону и объяснил, в чем дело. Он выслушал меня, усмехнулся и весело сказал:

— Олено! музыка наша! Несы в хату!

— Только слышите, — прибавил я, — я гармонику дарю, а не продаю.

— Добре! Добре! — весело говорил старик. — Просымо мылосты в хату. Идите и вы, хозяйки мои нечепурни! — прибавил он, обращаясь к женщинам.

Женщины оставили свои гряды, и мы все гурьбой отправились в хату. Впереди важно выступал наш хозяин. Он был одет уже не по-вчерашнему, в солдатскую шинель, а в синем тонкого сукна жупане, препоясан красным широким поясом и в черной смушевой высокой шапке. В этом наряде он был похож на старинного малороссийского горожанина или на зажиточного козака.

Мимоходом я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату, я спросил хозяина, застал ли он дома Виктора Александровича. Он отвечал мне, как на самый обыкновенный вопрос, что застал дома и что он собирается к какому-то соседу на праздник. «Сказано, холостой человек, одинокий, — прибавил он, — то ему и праздник не в праздник. Всего наварено, напечено, наготовлено, а ни з ким систы пообидать». — «А вы, добродию,

жонати чи ни?» — спросил он меня. Я отвечал, что нет.

— Женитесь, добродию, непременно женитесь, бо скучно буде старитись одинокому.-

Пока мы разговаривали с хозяином, хозяйка накрывала стол, а Елена за занавеской играла на гармонике. Когда уже на стол была поставлена водка и закуска, в это время вошел в комнату Ермолай и сказал, что лошади готовы. Я велел ему принести ружье, а тем временем расспрашивал, как ближе проехать к Виктору Александровичу. Хозяин, рассказавши мне со всеми подробностями дорогу, предложил выпить рюмку водки и закусить на дорогу. Я отказался, ссылаясь на Великую субботу, а в сущности потому, что было еще рано. Хозяин отказался от моего ружья и предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. После многих упрашиваний выпить и закусить на дорогу и что Бог простит дорожному человеку и тому подобное, я, однако ж, не поддался их доводам и простился с ними, как с старыми знакомыми, и поехал искать хутор Виктора Александровича.

Не доезжая версты две до города Глухова, в правой стороне от большой дороги чернеет небольшая березовая роща, а к этой рощице вьется маленька[я] дорожка. Эта дорожка привела меня прямо к усадьбе Виктора Александровича.

Усадьба или хутор Виктора Александровича скрывался, как бы за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум; шум усиливался по мере моего приближения; еще немного, и я явственно мог расслушать, что шум этот происходил от каскада падающей воды. И, действительно, я не ошибся: между белыми березовыми стволами кое-где просвечивала блестящая вода. Выехавши из рощи, передо мною открылся широкий пруд и плотина, полузакрытая старыми огромными вербами. По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки и отражались в воде. Между крестьянскими хатками белела под почерневшей соломенной крышей с гнездом гайстра, или аиста, большая, о четырех окнах, панская хата, или будынок, а перед нею стоит огромный развесистый вяз. За хутором по косогору раскинулся фруктовый сад, окруженный старыми березами. На самом косогоре, на фоне голубого неба, рисовалась ветряная мельница о шести крылах, а влево от мельницы, за пологой линией косогора, на самом горизонте в фиолетовом тумане едва заметно рисовался город Глухов.

Между вербами вдоль плотины медленно прохаживался сам хозяин этого скромного пейзажа, в смушевом тулупе, крытом серым немецким сукном, подпоясанный красным поясом и в черной смушевой шапке. Увидя мой фургон, выдвигавшийся из рощи, он остановился и, заслонив рукою, как бы козырьком, глаза от солнца, смотрел на мой неуклюжий экипаж.

— Виктор Александрович! — закричал я ему, не показываясь из своей буды. Он стал всматриваться еще внимательнее.

— Здоровы ли вы, Виктор Александрович? — закричал я ему, все еще не показываясь.

— Да какая же сатана кричит там и не вылезит на свет Божий? — отозвался он, как бы сердясь.

— Это не сатана, а это я, Виктор Александрович, — говорил я, вылезая из телеги.

— Так ты бы так и говорил! А то кричит, кричит, а не показывается. — И мы, обнявшись, поцеловались.

— Ай да молодец! — воскликнул он. — Ай да козак! Спасибо, спасибо! А я уже думал, что ты непременно обманешь. Думал уже было сегодня на ночь пуститься к Семену Максимовичу

праздник встречать, а вот ты и приехал. Спасибо, спасибо тебе, теперь не нужно и фрак доставать.

— Ну, как вы поживаете? что поделываете, Виктор Александрович?

— Да что поделываю? Вот другую неделю, как поднял шлюз, да и гуляю день и ночь на гребле, как собака на цепи. Бог его знает, откуда эта вода прибывает? Так и поддает, и поддает! — говорил он и, взявши меня под руку, прибавил: — Ну, теперь просымо до хаты. — А ты, приятель, — сказал он, обращаясь к Ермолаю, — отправляйся прямо на конюшню, спроси там кучера Артема и бери у него все, чего душа твоя пожелает!

Панская хата, как снаружи, так и внутри, отличалась только своими размерами и ничем больше. Да и сам пан, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных; разве только тем, что носил красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары, а по праздникам надевал фрак и ездил обедать к своему церемонному соседу. Больше ничем. Воспитывался он, правда, в Нежинском лицее, в одно время с незабвенным нашим Гоголем, потом служил в каких-то гусарах, и служил с таким успехом, что и тени в нем не осталось прежнего воспитания. Он уже лет пять как оставил службу, но и теперь непрочь был погусарить при удобном случае и жаловался только на упадок физических сил, т. е. на головную боль после попойки. Но это, я думаю, происходило вследствие недостатка практики. Как настоящий бандурист, играл он на бандуре. И в часы досуга занимался сочинением чувствительных малороссийских романсов, из числа которых один положен на музыку известным нашим композитором Глинкою. И чтобы сохранить самобытность в литературе, не читал он ровно ничего, кроме басен Федра, переведенных во время оно знаменитым Барковым, да еще кое-когда заглядывал в *«Царь, или Спасенный Новгород»* Хераскова. Словом сказать, он совершенно оградил себя от всякого подражания на поприще литературы. Для полноты его характера надо прибавить, что, ведя уединенную жизнь в самых привольных местах для охотника, он был заклятый враг охоты и охотников называл не иначе, как живодерами и псарями.

Приятель мой не отличался изящными манерами и привлекательной наружностью, но в его смуглом, изрытом оспою лице было столько веселого прямодушия, что нельзя было смотреть на него без удовольствия, особенно когда он рассказывал малороссийский анекдот или передразнивал кого-нибудь из своих соседей: самой естественной мимикой владел он в высшей степени.

Был он уже мужчина не первой молодости, но нельзя было назвать его и старым холостяком, хотя он уже и близился [к] категории сих последних. Он так освоился с своим одиночеством, что о женитьбе и помину не было. На современное воспитание барышень вообще и соседок в особенности он смотрел по-своему, то есть косо. И, судя по его оригинальному взгляду на предметы, нельзя было предполагать, чтобы он когда-нибудь женился, а вышло иначе: не дальше как через год после моего свидания с ним он женился, и, как в литературе, так и в этом деле, он поступил самобытно.

Нужно прибавить, что среди своих подданных он был как отец среди семейства: брал от них только то, что ему необходимо было для дневного существования, прихотей же он не знал никаких, и вообще его расходы были чрезвычайно ограничены. С этой стороны он был достоин подражания.

— Бабусю! — крикнул хозяин, войдя в хату. На зов его вошла опрятная, чистенькая старушка в деревенском платье.

— Самовар! чаю! и прочее... догадалась? — Старушка кивнула утвердительно головою и вышла из хаты.

— Какой же ты добрый человек, если бы ты знал, так просто я и сказать не умею! — говорил он, обнимая и усаживая меня на дубовую широкую лаву, или скамью. — Да такого другого человека и с фонарем теперь не найдешь. Дать слово и сдержать его? Право, не найдешь!

Я молча пожимал ему руку и кивал головою. Пока мы менялись любезностями, а тем временем зашумел самовар на столе и опрятная бабуся вытирала стаканы, а хозяин, оставя меня, принялся раскупоривать бутылку, на ярлыке которой красовались готические буквы, изображавшие слово «*коньяк*».

— Жаль, что не застал ты здесь стрелкового баталиона, — говорил он, ставя на стол раскупоренную бутылку, — на прошлой неделе выступил только. А что за лихие ребята, большею частию шведы! Чудо, что за народ! Воспитаны, образованы, а уж кутнуть или загнуть угол, так просто что твои гусары. Особенно поручик Штрем, просто гениальная голова!

Пока он воздавал похвалы поручику Штрему и компании, бабуся налила в стаканы чаю, и мы подсели к столу. После первого стакана чаю Виктор Александрович обратился ко мне и сказал:

— Расскажи же ты мне про свое путешествие. Ведь ты человек наблюдательный. Я думаю, много интересного подметил?

— Самое интересное, — сказал я, — из всего моего путешествия — это ваша корчма около Эсмани, а особенно корчмарь, ваш посессор.

— А! это Яким Туман! Так вы таки познакомились с ним?

— Я у него ночевал. Да еще и в долг вдобавок.

— Как так в долг?

И я в ответ рассказал ему историю моих финансов.

— Плохо, — сказал он рассеянно и, немного помолчав, сказал: — А знаете ли, этот старый инвалид, Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок оригинал совершенно в малороссийском характере. Он не рассказывал вам про свое знакомство с Блюхером или как они через Париж промаршировали?

— Про Париж рассказывал, а про Блюхера нет!

— Как же это так? Верно, жена помешала?

Я подтвердил его догадку.

— И он, верно, назвал ее капитаншею?

— Действительно, так.

— Видишь, как я изучил моего орандаря, или, как ты говоришь, посессора. Знай же, что под этой грубою корою скрывается самая возвышенная, самая благородная душа! Жена его, которую он шутя называет капитаншею, это его воспитанница с самого нежного детства. Я вам на досуге расскажу эту историю. Он сослуживец и однополчанин моего отца, и покойник мой без сердечного умиления не мог рассказывать его похождения. А лучше всего я подарю

тебе рукопись, написанную со слов покойного батюшки; там ты не найдешь ни одного слова фантазии, нагая истина. Я думал было напечатать ее, да после раздумал. Пожалуй, еще какой-нибудь Барон Брамбеус остриться на мне вздумает или просто назовет ее пустою выдумкой, а это для меня пуще ножа острого. А ты ее, пожалуй, напечатай, только под своим именем, чтобы я был в стороне. Я завтра же тебе ее доставлю, она у меня где-то спрятана. Я сам не помню, надо спросить у бабуся: бабуся у меня всему хозяйка. А дочку его видел? — прибавил он, улыбаясь.

— Видел, — сказал я.

— Что, не правда ли, красавица?

— Действительно, красавица. И хоть она одета по-крестьянски, но несколько не похожа на крестьянку!

— На крестьянку! Гм. Она похожа на царевну! а не на крестьянку. А как ты думаешь, — прибавил он, пристально глядя мне в глаза, — можно ли такому важному человеку, как, например, я, назвать ее своею женою, а?

— Почему же и не так, — сказал я, — если она и во всем так прекрасна, как наружностью!

— Решительно во всем, — сказал он восторженно. — Я сердечно рад, что встретил хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой семейной жизни. А то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане, т. е. приличии. Провались они и с своим приличием! — прибавил он, допивая стакан чаю.

— Одно, что мне в ней показалось странным, — говорил я.

— А что такое?

— А то, что она для корчмы слишком невинна. Она, например, до сегодняшнего дня не знала о существовании гармоники. Настоящая дикарка!

— Вот именно это мне в ней и нравится! Как же это она сегодня сделала такое важное открытие? Уж не с вашею ли помощью?

— Именно с моею. Я подарил ей гармонику.

Он посмотрел на меня исподлобья и, покручивая усы, сказал:

— Черт вас носит с вашими гармониками, только добрых людей развращаете. Ну, скажи на милость, к лицу ли ей, такой принцессе, твоя глупая гармоника? Ведь она ее обезобразит. Это все равно, что орловскую увесистую бабу посадить за клавикорды Лихтенталя! Сегодня же отберу и в печку брошу! «Бабусю!» — крикнул он. Вошла бабуся. «Пошлите в корчму Максима, чтобы он принес мне музыку... Или нет, не нужно. Я сам поеду». — И он поспешно надел шапку и, выходя из комнаты, сказал: «Бабусю! найди та отдай им ту синюю бумагу, помнишь, что я недавно читал Илье Карповичу?»

— Помню, — сказала бабуся. — Хорошо, что вы сказали, а то я хотела ее сегодня употребить по хозяйству.

— И хорошо бы сделала. Отдай же теперь им, когда не успела в дело употребить. Прощайте! — сказал он, обращаясь ко мне, и вышел, порядочно хлопнув дверью.

Мне было как-то неловко, так неловко, что я думал было позвать Ермолая и велеть вооружить колесницу, но раздумал, потому именно, что не на что было подняться, и волею-неволею я должен был извинить оригинальной и совершенно хуторянской выходке моего амфитриона. А себя оправдывал я тем, что и не такие выходки нам частенько в жизни приходится извинять, и не только по службе, а так, как говорится, по стесненным обстоятельствам, и даже без всяких обстоятельств.

Пока я предавался таким великодушным мыслям, бабуся принесла и положила передо мною на стол довольно объемистый сверток синей бумаги, перевязанный розовой ленточкой, и молча начала убирать со стола стаканы.

Закуривши сигару (я в то время еще курил сигары), [я] развязал и развернул сверток, сел около стола на лаву, с умыслом не позволяя себе никакого комфорта или просто горизонтального положения, чтобы не сделать в своем роде [не]вежливости и не заснуть пред лицом автора на первой же странице его скромного творения.

Я принялся читать. Заглавие было такое:

КАПИТАНША, ИЛИ ВЕЛИКОДУШНЫЙ СОЛДАТ

рассказ самовидца

Даровавши мир Европе, войска наши маршировали восвояси; в том числе маршировал и наш удалый пехотный полк N. Полковой адъютант наш был хватище на все руки. Например, наша братья-простота спустили все немкам да француженкам; иной и родительское благословение хватил побоку сгоряча. А он себе втихомолочку ковал денежку за денежкой да разные, как мы тогда называли, безделушки собирал; а эти безделушки были не что иное, как редкости, золото и алмаз, — больше ничего!

Между прочими редкостями вывез он на родину и жокея француза, или, как он его еще называл, паж. Ну, жокей или паж — это совершенно все равно. Дело только в том, что этот паж был удивительной красоты мальчик и стыдлив, как самая непорочная девица. Звал он его Альфредом или Альбертом, не помню хорошенько, а только знаю, что полковые музыканты называли его Володькой, а за музыкантами, признаться, и наша братья, официю имеющие, тоже его Володькой называли. Свое родное, знаете, как-то к сердцу ближе, особенно когда не побываешь на родине годика два-три. Верите ли, когда мы вступили в пределы России, то первый постоялый двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля. Все это, конечно, предрассудок, но как для кого, а для меня самый этот предрассудок имеет свою какую-то прелесть. Адъютант наш жил, как вообще живут скупые, то есть на замке; у него бывали товарищи разве только за делом, и то за весьма важным делом, следовательно, его домашняя жизнь мало кому была видима. Носились, однако ж, слухи, что он вместе с Володькою и чай пьет и ужинает (он обедал каждый день у полкового командира), но это были пока только слухи. Один-единственный человек, который ежедневно посещал квартиру адъютанта, — это барабанный староста. Он приходил к нему не столько по обязанности, сколько для Володьки.

Барабанный староста этот был природный наш брат хохол и оригинал, какого мне другого и встречать не удавалось. Он вообразил себе, что лучше его не только во всем полку — во всем корпусе никто французского и немецкого языка не знает, а когда спросишь его, бывало, есть ли какая разница между языками французским и немецким, он пресурьезно ответит:

— Малность. Ежели кто добре знае французкий язык, то может говорить и по-немецки.

И этот-то чудак во время похода взялся выучить Володьку русскому языку, а он столько же знал русский язык, сколько наш хуторянин, не выдавший русской бороды никогда; хотя и квартировал он шесть лет во Владимирской губернии, но это ему мало помогло, он все-таки остался настоящим хохлом. Если бы Володька вздумал сурьезно от него научиться русскому языку, то был бы похож на того англичанина, которому вздумалось выучиться по-русски говорить, и, чтобы достигнуть скорее своей цели, он поселился на лето в деревне и договорился с попом, чтобы тот его выучил к зиме настоящему, коренному русскому языку. Поп его и выучил церковному нашему языку. Англичанин зимою возвращается в столицу и в модном салоне отпустил какое-то бонмо на церковном языке. Барыни так и покатались со смеху. Англичанин оторопел: он совсем не такого ожидал эффекта от своего бонмо: переконфузился, бедняк, и не мог понять, что бы это значило. Да после уже ему растолковали.

С французиком Володькой могло случиться то же самое, что и с чудакон британцем, однако ж этого не случилось, а случилось вот что. В продолжение похода французик, несмотря на угрюмый и молчаливый нрав барабанщика, так к нему привязался, как только может привязаться дитя к матери. Чудные вещи совершаются в природе. Например, Туман (барабанный староста так прозывался, и мы его так будем называть) был совершенно не в французском характере человек, а полюбился ветреному французу, да еще как полюбился! — просто как родной. Есть что-то тайное, незримое, намекающее нам на наши будущие несчастья, но мы не в силах понимать эти немые намеки, а потому и страдаем. Французу тоже его ангелом-хранителем была подсказана эта симпатия к человеку простому, грубому, чуждому, казалось, всякого возвышенного чувства, а вышло, что все мы ошибались, а француз угадал.

Володя, или французик, как я сказал, был скромный и даже застенчивый мальчик со всеми, кроме Тумана. А с ним он такие штуки выделывал, как, может, случалось вам видеть играющего молодого котенка со старым котом: что бы ни делал молодой котенок, а старый только глаза жмурит. Так и Туман: что бы ни выделывал с ним Володя, а он только смотрит на него и улыбается. Разве уж он очень ему надоест своими шалостями или просто отдохнуть не дает после ротного ученья и покурить трубочку на свободе, так он поворотится на другой бок и проговорит: «А шоб ты ему опряглось...» — да, не кончивши нехорошей фразы, остановится, перекрестится и скажет: «Господи, прости мене грешного, оно сирота, да еще и на чужине, а я его лаю». И, как бы ни уставши был, встанет, пойдет, достанет где-нибудь творогу и прочего и примется вареники лепить для своего Володи, чтобы тем хоть сколько-нибудь загладить вину свою перед ним. Адъютант, хоть видимо и не поощрял, но втайне был доволен взаимною их привязанностью, да иначе и быть не могло. Володька что еще? — почти дитя, да еще между чужими людьми, долго ли избаловаться? К такому возрасту все льнет одинаково — и худое, и хорошее, а он был уверен, что от Тумана он не выучится ничему худому, потому что Туман во всем полку слыл за человека самого аккуратного и самого честного, а что он угрюмый, так это ничего: иной и ласково смотрит, а кусает, как гиена.

Вступивши в пределы нашего возлюбленного отечества, остановились мы на зимние квартиры. Володя начал скучать и как-[то] чудно переменялся в лице. А что еще чуднее, так это то, что он своего широкого плаща никогда не снимал, а так и спал в плаще. Уже не играл, как котенок, с своим угрюмым другом, а упадет к нему на грудь, да так и обольет ее слезами. Туман хотя всячески баловал и старался его развеселить, но мало успевал. Мы думали сначала, что это просто тоска по родине и больше ничего, со временем пройдет, ан вышло иначе. Адъютант, взявши отпуск, уехал с родными повидаться, а Володе нанял в местечке у жида квартиру и оставил его на попечение барабанного старосты. Мы этому тоже не могли надивиться. Отчего бы не взять мальчика с собою? Он все бы таки немного порассеялся. Но мы это приписали его скупоности, больше ничему.

Не знаю почему, но французенок этот нас всех интересовал, в особенности меня. В [нем] было что-то привлекательно симпатическое. И когда он остался без своего патрона и не показывался на улице, то я как будто что-то потерял и всякий раз, когда увижу Тумана, спрашивал о французе. Туман сначала отвечал мне, что Володя скучает, а потом начал отвечать, что Володя нездужае. Много раз подмывало меня зайти проведать Володю да поговорить с ним о его родном Париже: может быть, ему и легче бы стало; так что ж вы будете делать с глупою фанабериєю? Как, дискать, я, будучи офицер, пойду с визитом к какому-нибудь, положим себе, хоть и французу, а все-таки лакею? О воспитание! С отъявленным чиновным мы приветливо раскланяемся на улице, принимаем у себя в доме с самою обязательно улыбкою, предлагаем стул и первое место за семейным столом и не боимся, что эта ядовитая тварь своим дыханием заразит детей наших. А [по]встречайся с нами на улице простой человек, нечиновный, который своим бескорыстием и прямою, быть может, нам же оказывал услуги, да мы на него и не взглянем, а если и взглянем, то так благосклонно, что лучше б и не взглядывали. И это у нас называется приличие! Мерзость, ничего больше! Мы хуже браминов. Тот по крайней мере издыхать будет, а у парии воды не попросит, чтобы не быть ему ничем обязану. А мы?.. Впрочем, на эту тему целые томы написано, так не лучше ли оставить, потому что я ничего нового сказать не умею. Да и замечено не раз, что великие теоретики не всегда бывают такие же и практики; я это говорю в отношении филантропов и моралистов. То чтобы не попасть в эту же категорию, то я возвращаюсь к французика Володе.

Прошло месяца два после уезда адъютанта. Он в полку не имел никого близкого или приятеля, следовательно, мы об нем никаких известий не имели. Квартировал я вместе с нашим штаб-лекарем. И сидим себе вдвоем ввечеру да читаем какую-то французскую книгу, — не помню, какую именно, — только денщик докладывает, что барабанный староста просит позволения взойти. «Позови», — говорю. Туман вошел бледный и перепуганный.

— Что скажешь, Туман? — спросил я.

— К их высокоблагородию!

— Что же тебе нужно? — спросил лекарь.

— Володька умирает, ваше высокоблагородие. Помогите! Только это не Володька, ваше высокоблагородие, а женщина.

— Как женщина!?! — спросили мы в один голос.

— Так, просто женщина, и теперь страдает родами. Лекарь наскоро оделся и ушел вслед за Туманом. Долго он не возвращался, или это, быть может, так мне показалось, потому что я его с нетерпением ожидал. Наконец он пришел. «Ну, что?» — спросил я его.

— Ничего, разрешилась, — ответил он. — Младенец здоров, будет жив, а она, бедная, сильно пострадала, едва ли выдержит.

Поутру пришел Туман и объявил нам, что она умерла вскоре после ухода их высокоблагородия.

Дали знать о случившемся полковому командиру. Тот велел на другой день похоронить ее и предать это дело забвению. Полковница хотела было взять дитя на воспитание, но Туман не уступил. Он говорил, что он перед Богом будет отвечать за это дитя, что она когда умирала, то целовала его руки и все на дитя показывала, т. е. просила его, чтобы не покидать ее дитя. «И я не должен покидать его», — говорил он. И так сделал. Он с помощью фактора в тот же день нашел кормилицу, передал ей ребенка и заплатил деньги.

Хотелось нам узнать, кто такая была покойница, но ничего не узнали: бумаг совершенно никаких при ней не оказалось. Должно быть, или какая-нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка. Бог ее знает.

Теперь, я думаю, не совсем еще поздно будет познакомить вас покороче с моим неуклюжим героем. Но лучше поздно, нежели никогда, — говорит мудрая пословица.

В 1809 году запасные войска наши были расположены частью в Бессарабии, частью в Херсонской губернии, в том числе и наш полк. Я тогда только что кончил курс наук в Шляхетном кадетском корпусе, как меня, едва обмундировать успели, послали в действующую армию, т. е. в запасные войска. Прибыл я в полк, поступил в роту. Ротный командир и поручил мне, между прочими занятиями, только что прибывших в роту с полсотни рекрут обучить фронту. В числе рекрут был и А[ким] Туман.

Едва ли самая упрямая цыганская кляча перенесла столько побоев, сколько этот бедный рекрут, а дело вперед не подвигалось ни на шаг. Наука парню не далась. Шесть месяцев прошло, а он как ни в чем не бывало. А собою он был видный, здоровый, молодой, без всякого качества, как говаривал капрал, только с норовом. А правду сказать, так мы сами сноровки не знали, как обращаться с рекрутами, особенно с моими земляками. Владиславлев в то время не издавал еще памятной книжки для штаб— и обер-офицеров, в которой помещено весьма дельное наставление доктора N. на этот предмет. Вскоре был заключен с турками мир, и нашему полку приказано было двинуться вовнутрь России. Итак, мы на Тумане только напрасно хворост переломали. Наша рота двигалась вместе с полковым штабом, следовательно, и с полковой музыкой. Походом наш недобитый рекрут познакомился с барабанщиком; тот и давай ему на дневках открывать таинства своего искусства. Что же вы думаете? Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабанах зорю, да так искусно, что сам учитель завидовал. Ротный командир видит, что медведь не совсем бестолков, предложил ему быть форменным барабанщиком. Туман охотно согласился и с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что когда под Бородином убили у нас барабанного старосту, то он занял его место. Что значит призвание! Уразумей мы в нем это призвание с самого начала, и фура хворосту не пропала бы даром. Последующие события в служебной и частной жизни моего героя не так примечательны, чтобы их стоило описывать. Разве только, если верить его собственным словам, рассказать о том, как он познакомился с Блюхером, и как он ему по-немецки предлагал стакан шнапсу, и как Туман по-немецки же от шнапсу отказался и попросил у его высокопревосходительства стакан вейну, в чем, разумеется, ему и не было отказано. Принимая в соображение характер знаменитого полководца, все это могло случиться так, как рассказывает Туман: но я как не был свидетелем этой сцены, то и не ручаюсь за истину этого курьезного происшествия.

Святое времячко было для нашего брата, военного человека! Бывало, как поставят полк на зимние квартиры, так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет, так что наша братья наполовину переженятся. Что я говорю, наполовину? Все переженятся, если только невест в околотке хватит. Да, в то время невесты не засиживались, как теперь. Да что теперь? Не успеет полк, как говорится, места нагреть, глядь, его турнули на другой конец России, — какая тут женитьба! Дай Бог хоть познакомиться как-нибудь. А солдат? Просто блаженствовал. Иной ловкий парень так сживется с хозяевами, что просто делается членом семейства, если не больше. Одно только, что было больно не по нутру нашим солдатикам, это форма, т. е. обмундирование. И действительно, страшно было смотреть, когда его, бедного, одевают в полную боевую амуницию. Два одевают третьего, а когда оденут и поставят на ноги, так уж и стой. А уж если, Боже сохрани, споткнулся да упал, так уж так и лежи: сам не встанет, нужно опять два человека, чтобы поставить его на ноги. А ко всему этому прибавьте

белого сукна шинели; это такая была обуза для солдата, что он, бедный, не знал, что с нею делать: вместо того, чтобы защищаться от непогоды шинелью, он должен ее защитить. В настоящее время русский солдат в отношении обмундировки просто богдыхан китайский. Мундир только его немножко безобразит. Ну, да и этот недостаток со временем заменят чем-нибудь поблагопристойнее.

Кто про что, а солдат про амуничку. Так и я: увлекся крагами да кутасами, а о главном-то и забыл. Вот как было.

По обычаю того времени полк наш прозимовал в одних и тех же квартирах восемь зим с лишком. Варочка (так называл Туман свою воспитанницу) росла не по дням, а по часам. И что это за прелестное дитя было! Просто совершенство детской красоты. Вот уж я пятый десяток коротаю, а не видал еще другого такого очаровательного дитяти. И ко всему этому — тихое, скромное, совершенный ангел небесный. Оно если и позволяло себе иногда детскую резвость, так только с одним своим татом (так называла она угрюмого Тумана). И самая нежная мать не может ласковее улыбаться своему дитяти, как угрюмый Туман улыбался, лаская свою кудрявую Варочку. Мне часто случалось его видеть, сидящего под хатю на завалине и ласкающего на коленях свою Варочку. Мне всегда эта сцена напоминала прекрасную гравюру, изображающую усатого рыцаря в кольчуге с прекрасным младенцем на руках. Дитя треплет его за усы, а он ему ласково улыбается. Точь-вточь Туман с своею Варочкой. Счастливей Туман! А правду сказать, он вполне заслуживал этого счастья.

Взявши на свое попечение дитя, он начал с того, что перестал курить трубку и пить водку. Хотя он не был никогда записным пьяницей, но при случае от добрых людей не отставал. Отказавшись от единственных прелестей солдата, он все-таки немного уэкономил для своей Варочки. Простыми ломовыми трудами в жидовском местечке не много возьмешь; нужно было думать о каком-нибудь ремесле. Вот он, понадумавшись хорошенько, принялся сапоги тачать. Тачает он их год, другой, а на третий приносит он мне показать опойковые сапоги собственного изделия. Да какие сапоги, я вам скажу! Хоть столичному мастеру, так в нос бросится. Я, признаться, не поверил его досужеству и велел ему сделать для себя сапоги; он и сделал. Посмотрю — еще лучше: на ноге сидит просто как вылитый сапог. Я рекомендовал его товарищам. Туман ретиво принялся работать, и не прошло году, как Туман уже работал на всех офицеров в полку и даже на самого бригадира, который, как известно, все еще щеголял в парижских сапогах и думал уже было заказывать в Варшаве. Так вот какой из неуклюжего и, как думали, глуповатого Тумана вышел мастер. Правда, что редко встречаются в русском человеке две эти добродетели, т. е. и мастерство, и трезвость, однако ж встречаются, и вот вам доказательство — Туман. Зато он жил, как и иному офицеру дай Бог так жить: квартира у него лучше квартиры офицерской (он нанимал у шляхтича отдельную хатку в саду; не помню, что платил). Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. Себе он только и отказывал в вине и в трубке, а больше ни в чем. А про Варочку и говорить нечего: выбежит, бывало, на улицу, что твоя куколка разрисованная, — куда шляхетские дети! Просто замарашки перед ней. А сам Туман так только и показывался на ученьи, нигде больше его не увидишь: сидит себе и день и ночь за своими сапогами да песенки попевает.

Человек трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете, особенно если труд его имеет такую возвышенную, такую благородную цель, как труд этого простого, этого безграмотного человека. Завидую и всегда буду завидовать тебе, счастливый благородный труженик.

Старушка, Варочкина нянька, между прочими добродетелями, была еще и грамотная, польски, разумеется, почему я и заключаю, что она должна быть шляхетского рода. И когда Варочке пошел пятый или шестой год, — не помню хорошенько, помню только, что она уже

говорила чисто и внятно и еще немножко картавила, что выговору ее придавало особенную прелесть, — старушка нянька на досуге принялся показывать грамоту Варочке. Туману понравилось, что Варочка его будет читать, да еще по-польски, и удовольствие свое он выразил тем, что на первой в местечке ярманке купил шерстяной какого-то темного цвета платок, тулуп и козловые сапоги, да сверх этого подарил ей полкарбованца. Старушка была в восторге, и благодарностям конца не было. Сначала Туман было подумал: «К чему ей грамота? Что она за панна такая?» Но, посмотревши на дитя, нашел, что она действительно панна, [и], махнувши рукой, сказал: «Нехай соби учиться, умитыме до ладу хоть Богу помолыться». А так как простодушный Туман не находил большой разницы между языками немецким и французским, то так само и между грамотой польской и русской: все равно, абы читала.

Однажды, — это уже было вскоре перед нашим выходом из благословенного местечка, — иду я по улице мимо квартиры Тумана и вижу: Туман сидит под хаткою на завалине в своем пестром мундире и с барабаном между колен (должно быть, только что пришел с ученья). Перед ним стоит Варочка и просит у него барабанные палки. Он ей подал, она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик. Я просто удивился: настоящая «Córka regimentu», что в прошлом лете в Ромне польские актеры представляли. Но нужно было видеть самого Тумана: ни один, я думаю, любитель музыки не слушал с такою любовью симфонию Бетговена, с какою он слушал и любовался своей Варочкой.

Это мне напомнило другой эстамп, такой самой величины, да чуть ли и не одного мастера, — на котором изображен рыцарь, также в кольчуге, обучающий мальчика бить на *барабане*. Только переменить костюм, и будет та самая картина.

Варочке уже минуло семь лет, когда нашему полку приказано было двинуться по Смоленской дороге. Туман как бы предвидел эту катастрофу, обзавелся лошадыю и повозкой, так что, когда приказали выступить в поход, наша братья втридорога платила за паршивую лошаденку, и то трудно было достать, а Туман только улыбается, глядя на запыхавшихся факторов и на наши сборы. Кое-как мы собрались, и в одно прекрасное утро полковой штаб и моя рота выступили из благодатного местечка. Проводы были пышные. Да и как не быть им пышным? Простоявши столько времени на одном месте, многие солдатики не только коханками — детками обзавелись. Ну, да эта картина не в моем вкусе, и я не буду описывать вам ни слез, ни рыданий, ни судорожных объятий; скажу только, что первый переход наш длился целый день и половина моей удалой роты ночевала на дороге.

Мы двигались той самой дорогой, по которой так недавно промчался гений войны со всеми ужасами. В городах, особенно в Борисове и Красном, были видны еще следы войны, а в селах как будто ничего не бывало; только и следу, что у мужичков в банях на каменках заменен был булыжник чугунными ядрами. В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах. А собор уже возобновлялся.

В Смоленске скупился наш полк, и после инспекторского смотра распустили нас на зимние квартиры. Так как я командовал гренадерскою ротою, то вместе с полковым штабом остался в Смоленске, а прочие роты расположились в окрестных селах. Туман с своею Варочкою тоже оставался в Смоленске. Несмотря на то, что половина города была еще в развалинах, дворянства к зиме съехалось много, и мы на развалинах древнего Смоленска зиму провели шумно и весело. Маменьки, вероятно, рассчитывая на полковую холостежь, навезли невест, да прехорошеньких; но, увя! решительно некому было сватать: наша молодежь, как и прежде еще [я] имел честь докладывать, вся переженилась. Признаюсь, грешный человек, меня самого тогда подмывало повторить узы Гименея, да жаль стало Викторика, а ему в ту зиму только пошел четвертый годочек. А в этом возрасте для дитяти, я по себе знаю, что значит самая лучшая мачеха. А если, Боже сохрани, навяжется сатана в виде ангела неземного, тогда

что делать? И так, я подумал, подумал, да и рукой махнул. После я слышал, что предмет моих воздыханий сочетался браком с каким-то безногим богачом Энгельгардтом, и через год он уехал за границу, а она за другую. Я только Богу помолился, когда услышал такую интересную новость.

Квартиру я в полуразрушенном Смоленске успел захватить порядочную и недорогую. Была одна комната совершенно лишняя, я и предложил ее Туману с тем, чтобы он, как человек трезвый и аккуратный, присматривал за моим мизерным хозяйством. Да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. Нянька и гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина, и Варочка в продолжение зимы шутя выучилась русской грамоте, да и Викторика моего выучила азбучке. В Великом посту он уже пребойко читал по верхам. А Варочка каждый божий день поутру и ввечеру читала вслух, в присутствии всех, утренние и вечерние молитвы. Счастливый Туман плакал от умиления, слушая, как его Варочка читает такие прекрасные молитвы, о которых он, человек темный, прежде и понятия не имел; особенно, когда начнет она читать *«Помилуй мя, Боже»* и дойдет до стиха *«Сердце чисто созижди во мне, Боже»*, он положит земной поклон и сквозь слезы поцелует в темя свою умную Варочку. Зато нянька моя уже не нуждалась в башмаках, у нее всегда в запасе было пар шесть лишних, — на случай походу, как говорил Туман. А Викторик мой каждое воскресенье щеголял в новых сапогах. Я скажу ему, бывало: «Зачем ты ему, Туман, так часто сапоги переменяешь?» — «Росте, ваше благородие, то и переменяю». Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти в продолжение недели, что ему необходимо сапоги переменять. Я раз было попробовал взять какой-то материи на платьице для Варочки, да и сам не рад был: Туман мой так расходился, что чуть было с квартиры не сошел. Насилу уломал я его — такой чудак! «Обижаете, — говорит, — ваше благородие» — да й баста. «У вас, — говорит, — у самых росте дытына, а вы на чужих детей тратытесь. Я чоловик рукомесленный, у меня завсегда буде, а вы де возьмете, як Бог не дасть здоровья? Хорошо еще, як пенсии дослужитесь, а то й так выпускають».

В продолжение зимы я коротко узнал этого простого, благородного и в высшей степени бескорыстного человека.

Весною выступили мы из Смоленска по Московской дороге. За обозом моим и за людьми я поручил надзирать Туману и был совершенно спокоен. В походе всяко случается. Не везде для тебя все приготовлено, иной раз и натошак заснешь, что станешь делать? Но в этом походе я был как [у] Бога за пазухой. Бывало, не успеем прийти на место, у Тумана уже все готово: и для меня и для детей квартира, и самовар кипит, и ужин готовится, и лошадям всего вволю. И Бог его знает, как это он все успевал? А с мужичками, несмотря на свое хохлацкое произношение, никто лучше его ладить не умел. Удивительный человек!

В Москве скупилась вся наша дивизия, и бывший тогда еще корпусный наш командир, покойник Сакен, после инспекторского смотра отдал приказ по корпусу, чтобы всех неграмотных унтер-офицеров обратить в рядовые. Не знаю, что ему вздумалось, покойнику? Из этого вышла такая безладица в ротах, что и Боже упаси; особенно нам, ротным командирам, наделал он хлопот своим приказом. Безграмотных унтер-офицеров, действительно, было много, но зато это были люди самые расторопные и трезвые — две ничем не заменимые добродетели солдата. Так этаких-то людей мы должны были заменить грамотными пьяницами и ворами. Тут-то я только узнал, что значит так называемый грамотный русский человек. Эти грамотеи попадают в солдаты большею частью из помещичьих сельских писарей, Мужички наши недаром говорят: «Не буде добра и правды на земли, поки пысьменным очи не повылазять». Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. Что бы подумал про моих земляков великий ревнитель народного образования Ланкастер, когда бы он знал, что у них существует такая варварская поговорка?

Подумал бы, что земляки мои не люди, а пародия на людей. И был бы несправедлив. Общая грамотность в народе — величайшее добро, но где на 100 один грамотный — величайшее зло. Я ничего не знаю безнравственнее и отвратительнее сельского писаря; он первый грабитель бедного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый развратитель простодушного мужичка, потому что он Святое Письмо читает.

Покойный Основьяненко в своем «Шельменке, волостном писаре» только легкий очерк набросал этого отвратительного типа. И такими-то грамотеями снабжают помещики нашу славную армию. И, наверно, покойник Сакен не отдал бы такого приказа, если бы он хоть неделю побыл экономом в помещичьем селе.

С званием барабанного старосты Туман соединял и скромное звание унтер-офицера, гордился и дорожил этим званием, как собственною личною заслугою. Но, увы! как человек неграмотный, должен был спороть только что купленные в Москве дорогие не мишурные, а настоящие серебряные галуны. И их пришлось спороть и бросить в помойную яму, так, ни за что спороть, потому только, что он неграмотный разбойник. Глубоко было задето самолюбие бедного Тумана. Как развенчанный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи.

Нашему полку назначена была квартира в Муроме, и мы собирались в поход. Я просил его принять снова команду над моим мизерным хозяйством. «Возьмите соби ундира, — сказал он, едва удерживая слезы, — а то рядовой вас дорогою украде». Я сам чуть не заплакал и не в силах был повторить моей просьбы. Отпуская его, я был так неосторожен, что предложил ему синенькую на водку. Зарыдал он, бедняк, плюнул на мою ассигнацию и вышел из комнаты. На другой день привели его из Арбатской части в полковой штаб едва-едва движущегося. Когда спросили его, где он пропадал, он только мог выговорить: «Водки! а то здохну!» Дали ему стакан водки и заперли в пустую комнату. Я испугался за него, но, слава Богу, мой страх был напрасен: Туман благополучно отрезвился и больше не повторял утешения в горе; только до самого Мурома шел он молча, как помешанный. В Муроме вдруг Туман пропал. Я спрашиваю, где он? Говорят, в госпитале. Я пошел навестить его. Прихожу, отворяю дверь в палату, и что же? Вот уж такой гравюры я не видал, да, я думаю, такой картины и на свете нет. Самому великому художнику не представлялось такое прекрасное и оригинальное видение. На койке в лазаретном халате и колпаке сидит Туман, а на коленях у него сидит Варочка с азбучкою в руках и складывает вслух *тма, мна*, а за нею тихонько басом повторяет Туман. Увидя меня, он смешался и, вставши, ответил на мое приветствие [и] прибавил, краснея: «Варочка оце мени „Помилуй мя, Боже“ читала». — «Вот уж и „Помилуй мя, Боже!“ — сказала Варочка наивно. — Вы еще и склады бог знает как читаете!» — «Цыть, дурне!» — сказал торопливо Туман, дергая ее за рукав. Варочка сконфузилась, взглянула на меня, потом на него и с упреком сказала: «Разве я неправду говорю? Думала завтра „аз, ангел“ показать, а теперь и послезавтра не покажу, просидите вы у меня всю неделю на „тме, мне“». И [с] последним словом выбежала из палаты. Туман посмотрел ей вслед и с досадой проговорил: «От тоби на!» А обратясь ко мне, прибавил: «Воно бреше, ваше благородие». Я видел ясно, что оно не бреше, но показал вид, что я не догадываюсь, в чем дело, [и] спросил его: «Что, она постоянно при тебе находится?» — «Нет, ваше благородие, у фельдшарши находится, а до мене забижить на яку минуту, та й знову до фельдшарши. Таке непосыдяще!» — прибавил он, опуская глаза. «Клевещешь! Клевещешь, Туман. Я знаю, что ты делаешь. Да зачем же от меня скрывать? Разве худое дело учиться грамоте?» Туман с удивлением посмотрел на меня и, помолчавши, сказал: «Худое, ваше благородие, очень худое! Скажите, чи бачили вы, щоб дьтя, блазень, учило старого чоловика?» И бедняк почти заплакал. А спустя минуту стал меня просить, чтобы я никому не говорил о его грамоте. Я дал ему слово молчать. Предложил ему денег, но он сказал, что у него свои еще тянутся. Простившись и пожелав ему успеха, я вышел из палаты. «Алмаз, а не

человек», — думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре, — так он мне нравился в своем естественном виде. Хотел было я сделать сравнение с червонцем Крылова, да раздумал: такие натуры, как Туман, едва ли в состоянии переродиться, т. е. переобразоваться.

Штаб-лекарь наш подсмотрел тайну Тумана и не выписывал его из госпиталя, пока он сам не просился. Через месяц является ко мне Туман с улыбающимся лицом (что было ему совсем не к лицу) и с азбучкою за обшлагом и просит меня, чтобы я послушал, как он читает. Я послушал его: изрядно читает и заповеди, и все, что есть в букваре. Я подал ему «Устав о гарнизонной службе», он и «Устав» читает. Я в тот же день отрекомендовал его адъютанту, а он бригадир, и через месяц Туман нашел снова свои московские дорогие галуны, переселился ко мне на квартиру и снова принял в свои руки мое хозяйство.

Случилось так, что в тот самый [день], когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны, и мне вышло повышение: я произведен был в майоры, а командиру первого батальона вышла отставка; я и должен был принять от него батальон. Хотя я по-прежнему остался одиноким, но хозяйство мое поневоле должно было увеличиться. И такой человек, как Туман, был для меня необходим, а тем более, что Викторика своего отправил я в Нежин к сестрице, чтобы она приготавливала его для лица. Следовательно, и Варочка, как дитя, для меня тоже была необходима, потому что я без Викторика страшно скучал, и она, точно ангел Божий, явилась в моем доме.

Да, не обинуюсь, можно было уподобить ее ангелу Божию. Такой красоты неописанной я уже не увижу более! А кротость! Истинно ангельская кротость. Ей уже было лет одиннадцать с небольшим, и она мне чрезвычайно живо напоминала покойного Володьку, т. е. свою несчастную мать. Улыбка, голос, глаза — все было как [у] бедной матери. Только у Варочки все это было смягчено кротостью и непорочностью. Хотелось мне ее приохотить к книгам, но для ее возраста в то время какие можно было книги достать! Издавался в то время журнал под названием «*Благонамеренный*». Я прочитал в «Московских ведомостях» объявление и, увлекшись таким благородным названием, и выписал его собственно для Варочки, да как прочитал первую книжечку, так остальные уже и не разрезывал; так их у меня в ларе и мыши съели.

Во время пребывания Тумана в госпитале Варочка подружилась с фельдшершею и теперь почти ежедневно ее посещала. Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману, что эта дружба до добра не доведет, но он, Бог его знает почему, не обращал на мои слова внимания. Я прибегнул было к хитрости, т. е. приохотить ее к чтению и тем заставить ее сидеть дома. Но хитрость моя не удалась. А Варочка тем временем росла и хорошела.

На третьем или четвертом году нашей благополучной стоянки в городе Муроме переведен был в наш полк, за какие-то проказы, капитан гвардии N. N., лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии, человек образованный, деликатный и самый беспардонный кутила, а в то время это была не последняя добродетель, и Давыдов несправедлив, приписывая эту благородную страсть одним гусарам, — наша братья, пехотинцы, нисколько им не уступали.

Молодое офицерство наше все так к нему и прильнуло. А про барышень и говорить нечего: все, сколько их было в Муроме и около Мурома, все разом влюбились. Ну, положим так, их дело молодое, неопытное, им простительно, а то барыни! Матери взрослых детей — туды же сунулись соперничать с своими дочерьми! Господи! какую страшную силу имеет золото на сердце человека! А к тому еще он хорошо говорил по-французски, читал наизусть и даже пел некоторые такие песни Беранжера, что порядочный француз постыдится петь их в холостой пьяной компании, а он, молодец, пел их в муромских гостиных, и нежному полу так нравились

эти недвусмысленные песни, что их наизусть выучивали и в тени сирени, под аккомпаниман гитары и соловья, певали их безбожно уныло. Простодушные, они и не подозревали, что они пели. Они думали, что ангелы, если разговаривают между собою, то непременно на французском языке и поют такие же песни, как и предмет их нежной страсти.

Вскоре после появления этого хвата барыни и барышни, если обращались к кому с вопросом, то вместо имени и отчества произносили «мсью», и это было так обще, что свежий человек непременно подумал бы, что все муромское народонаселение говорит по-французски.

Вот когда открывался случай благоприятный блеснуть Туману своим познанием французского языка. Но, увы! он бедный плебей, а то аристократия! Да еще какая аристократия? Уездная! А это, я думаю, всем известно, что английская аристократия самая гордая и щекотливая, но в сравнении с нашей уездной она ничего не значит. Хотя французские пленные солдаты часто попадали в ее недоступный [круг], но то французские, дело совсем другого рода.

Одна хорошая моя знакомая, женщина уже не первой молодости, примерная, можно сказать, жена и примерная мать семейства, — по образованию она была немногим выше своих согражданок, но здравого практического смысла и безо всякого жеманства, что мне в ней особенно нравилось, — однажды она стала мне описывать добродетели и образованность нашего гвардейца. Я, слушая ее, думал, что она шутит, слушал ее и молча улыбался, но она, не обращая внимания на мои улыбки, увлеклась так панегириком, что начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. Я тогда и рукой махнул. Ну, статочное ли дело, чтобы русский барич того времени, да еще и гвардеец, знал что-нибудь, кроме французского языка? А то еще и отечественную историю! Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю, так он, вероятно, слышал об ней в столице, да и пустил в ход свои познания между непорочными муромками. Бедные муромки! И еще беднейшие муромцы!

Когда женщина, которая почиталась образцом ума и семейных добродетелей, и та увлеклась удалым капитаном, какое же влияние он имел на обыкновенные умы и добродетели! Влияние сильное, до того сильное, что не прошло году, как мужья молодых жен и отцы молодых дочерей почти начали убеждаться в сильном влиянии капитана на их жен и дочерей. И когда полку нашему назначен был поход в Москву по случаю коронации, то отцы и мужья перекрестились и свободно вздохнули, а жены и дочери зарыдали.

И горькие рыдания, и свободные [вздохи] остались напрасными: капитан заболел и до выздоровления остался в Муроме.

Каков же был ужас маменек и их милых дочерей, метивших на капитана как на самую выгодную партию, когда к нему (в отсутствие наше) приехала жена и теща и застали его не на одре болезни, а в кругу собутыльников. Теща начала было ему приличную случаю проповедь, но он ее остановил такими словами: «Вы, кажется, умная женщина, а такие глупые вещи говорите. Ведь вы видели, вы знали, кому вы отдавали свою единственную дочь, так о чем же вы мне теперь толкуете?» Старушка посмотрела на него, заплакала и, взявши свою единственную дочь, отправилась восвояси, а он, хохоча, кричал им вслед: «Куда торопитесь? Не угодно ли со мною пообедать?» Каков молодец!

Несмотря, однако ж, на все это, влияние его на нежный пол продолжалось, так что бедные мужья и отцы не видели других средств избавиться от опасного капитана, как написать просьбу государю от лица всего конглава и слезно просить, чтобы за примерные добродетели капитана перевел бы его снова в гвардию. Не знаю, по их ли просьбе или по чьей другой, только он, проживши еще два года, был переведен, только не в гвардию, а в город Вологду под надзор полиции. А в продолжение этих двух лет он разыграл еще с десятков слезных

мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего.

Выходя в Москву, вагенбург и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме, из чего и следовало заключить, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. Офицеры, которые имели порядочные квартиры, оставили [их] за собою; я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. Полковой командир, спасибо ему, уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана, а я Туману отдал в полное распоряжение свою квартиру и все к ней принадлежащее. Прощаясь с ним, я наказывал ему пуще своих глаз беречь Варочку и как можно реже позволять ей посещать фельдшершу.

«Потому, — говорю, — что ты сам знаешь, что за зверь остается в городе. Неравно как-нибудь она ему на глаза попадет, тогда она пропала». — «Бога гневите, ваше высокоблагородие! — сказал он. — Воно еще дытына!» Я замолчал, зная по опыту, что никакие доказательства не в состоянии поколебать упрямого земляка моего. А заметьте, что этой дытыне миная уже пятнадцатый год.

Сходили мы в Москву и возвратились назад благополучно. В Муроме тоже все по-старому; квартиру я свою и прочее добро нашел в отличнейшем порядке, иначе и быть не могло. Варочка встретила меня с самой детской непритворной радостью. А Туман, отрапортовавши мне о благополучии, благодарил меня, что я его оставил в Муроме, потому, говорит, что он в продолжение этого времени, кроме того [что] выучился выводить все цифры на бумаге, да еще зашиб препорядочную копейку: весь город наделил сапогами, а последний весь почти месяц работал на одного капитана. «Ну, начало сделано», — подумал я. «Не приходил ли он к тебе иногда сапоги примеривать?» — спросил я. «Приходил, ваше высокоблагородие, раз несколько приходил». «Плохо», — подумал я и отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова.

На другой день спросил я его, кто рекомендовал его капитану? Туман немножко замялся и сказал: «Признаться сказать, ваше высокоблагородие, фельдшарша».

— А что я тебе говорил, выходя в Москву? а? — спросил я.

— Помню, ваше высокоблагородие.

— Нет, не помнишь, забыл. Припомни и подумай хорошенько, что из всего этого может выйти. А что, он видел у тебя Варочку?

— Видел, ваше высокоблагородие.

— И говорил с нею?

— И говорил, ваше высокоблагородие.

— И за сапоги платил не торговавшись?

— Не торговавшись, ваше высокоблагородие, даже вперед сколько угодно денег предлагал, только я не брал, — не треба було.

— Видишь, Туман, как я все знаю. Слушай же. С сегодняшнего дня, Боже тебя сохрани, если тыпустишь хоть за ворота без себя Варочку. Прощайся с нею навеки! Слышишь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

— То-то же, слушай и не забывай. А то и тебя, и меня с тобою Бог накажет за наше нерадение. За чужое дитя мы больше отвечаем перед людьми и перед Богом! Ступай себе, Туман, за своим делом, — сказал я в заключение своей проповеди.

— Спасыби за науку, ваше высокоблагородие, — сказал растроганный Туман и вышел.

После этого он каждое утро, рапортуя мне о благополучии по хозяйству, рапортовал также и о похождениях своих с Варочкою. Похождения их — и то раз или два в неделю — на берег реки Оки, к рыбакам, или так просто для проходки, и иногда к фельдшерше на чашку чаю — тем и ограничивались их похождения. Да еще раз в неделю, т. е. каждое воскресенье, ходили они к обедне в церковь святых угодников.

А в городе между тем, т. е. в кругу дворян, и даже в мирном кругу купеческом, история за историей повторялась, и самого скандального содержания. А главным действующим лицом всех этих новелл был, разумеется, наш беспардонный капитан. К зиме в городе, по примеру прошлых зим, составилась дворянский клуб, или собрание. На первом, на втором [бале] в собрании я хотя и был, но не заметил ничего необыкновенного, а прочие заметили и мне уже после сообщили, что на балах не показывалась ни одна уездная львица, а причиною тому был не кто другой, как все же наш беспардонный капитан. И самые прескверные анекдоты сочинялись по случаю неявления на бале львиц. А смиренные овечки, на которых он не обращал внимания, скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая на изверга капитана.

Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре, и вдруг что-то мне вздумалось пойти к обедне в церковь Фрола и Лавра. Прихожу, перекрестился, гляжу — предчувствие меня не обмануло: капитан тут, а перед ним шагах в двух Варочка, а около нее фельдшерша и что-то шепчет ей на ухо, а [та] ставит свечки перед образами. Капитан так пристально смотрел на затылок и толстые темно-русые косы Варочки, что не заметил, как [я] прошел мимо его и почти рядом с Варочкой остановился.

Странная и непонятная вещь; отчего, например, дома я каждый день любовался красотой Варочки, и ни разу не бросались мне в глаза такие милые и, можно сказать, пластические подробности, как в церкви; например, на белом изящно округленном затылке прозрачно вьющиеся кудри. Я вам скажу, это такая сатанинская прелесть, против которой не в силах человек устоять. Я перекрестился и двинулся несколько шагов вперед.

По окончании обедни на паперти встретился мне капитан, и ему, как я заметил, ужасно хотелось зайти ко мне на квартиру, но я искусно отманеврировал, раскланялся с ним на перекрестке и пошел по направлению к квартире полкового командира, где его хоть и принимали, но весьма осторожно, потому, правду сказать, что командир наш был уже старик, и вдобавок израненный старик, командирша еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете, [опасно?] было пускать такого зверя в дом, каков был капитан.

На другой день после рапорта спросил я у Тумана: «Который теперь будет год Варочке?» Он долго считал по пальцам и наконец сказал: «З Варвары симнадцатый пошел».

«Гм... семнадцатый! — подумал я. — Опасно...» И я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви и каких от этого последствий ожидать можно и даже должно. Туман долго молчал, повеся голову, потом вздохнул и проговорил, как бы про себя: «Морока, та й годи!» И, помолчавши, продолжал: «Порадьте, ваше высокоблагородие, що мени з нею робыць?» — «А что робыць? Найти порядочного человека да выдать замуж, другого средства я не знаю». —

«Замуж... замуж...» — говорил он шепотом. «Замуж, — продолжал он тем же тоном. — За кого? Ни за кого! — сказал он, возвыся голос. — Пропаду! Я здохну, як та стара собака, без неї, ваше высокоблагородие!» — «Ну, так сам женись». — «Не можна, ваше высокоблагородие. Грех от Бога, вона моя дытына. И люды пальцями на мене показыватымуть. «Бач, — скажуть, — старый дурень, для чого выкохав байстря». И он снова опустил голову и задумался. Глядя на него, мне самому взгрустнулося. «Хорошо было бы, — подумал я, — если бы все родные отцы так любили своих детей, как этот бедняк приемыша». «Ну, что же ты придумал, Туман?» — спросил я его. «Ничего, ваше высокоблагородие». — «Так пока и не придумывай ничего, только смотри за нею хорошенько, может, даст Бог, опасность пройдет».

Я это говорил потому, что шалости капитана становились похожими на денной разбой и полковой командир два раза уже аттестовал его как человека неисправимого и вредного полку.

Прошло лето, настали темные долгие вечера осенние, а с ними и сопутницы их — грязь и скука. По вечерам, бывало, Туман сидит в своей комнате перед стеклянным глобусом, наполненным водою, и голенищу тачает, а в углу около столика Варочка тоже или за работой, или читает в сотый раз житие Варвары-великомученицы. И всякий раз, когда она прочитывала имя Диоскора, Туман плевал и шептал себе под нос: «Собака!» У них была еще и другая назидательная книга — это житие святых Петра и Февронии, тут, в Муроме, в Благовещенском монастыре, нетленно почивающих; но эту книгу она реже читала, потому, может быть, что Варвара-великомученица ее патронка. И я, бывало, по пробитии зори, отпущу фельдфебелей и, закуривши трубочку, зайду к ним, и так тихо, мило пройдет у меня время до ужина, как никогда ни прежде, ни после не проходило оно в блестящих гостиных.

Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку наподобие Сивиллы Куманской Кипренского или просто юную красавицу, при свече читающую книгу, во вкусе фламандского мастера Рембрандта. Но, признаюсь откровенно, эта задача не по мне, притом же я и враг великий художников-самоучек, а в этом деле я был ниже всякого самоучки. Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей, и бог знает какие мысли [роились?] в моей седой голове. А между прочими и такие. У меня в детстве была страсть к живописи, но как отец мой был настоящий суворовский солдат, то он о живописи и вообще о изящных искусствах имел самое грубое понятие или, лучше сказать, никакого. Мать моя была несравненно образованнее отца, и, как женщина, по природе своей она хотя безотчетно чувствовала прелесть нерукотворного создания и ей любо было подмечать во мне то же самое чувство, но чтоб посвятить [меня] какому-либо искусству или науке, она об этом и подумать не смела. Раз как-то, показывая ему мой рисунок, она сказала: «А что, если бы его отдать в Академию художеств? Может быть, из него вышел бы славный живописец?» — «Что?? — сказал он, сердито взглянув на нее. — Живописец?.. Маляр?.. Ты, кажется, пьяна была и не проспалась. Живописец?.. Ха-ха-ха... Живописец?.. Да ты подумай, мудрая голово, дворянское ли дело в красках пачкаться... В Академию... вместе с холопами! Прекрасную карьеру выбрала ты своему сыну, прекрасную, нечего сказать». И, взявши меня на руки, прибавил: «Нет, брат Саша, ты у меня будешь настоящий суворовский солдат».

Спустя год после этой сцены меня отвезли в Шляхетный кадетский корпус, и из меня действительно вышел настоящий солдат и больше ничего. И я теперь думаю, как хорошо было [бы], если бы я был живописцем: я бы на полотне передал прелести Варочки отдаленному потомству, подобно как Рафаэль обессмертил свою Форнарину или как Гвидо Рени целомудренную Беатриче Ченчию. Но об этом теперь и толковать нечего.

Странно как-то случается с людьми. Человек, например, дальновидный — он за год, за два предвидит опасность и все меры, все средства употребляет, чтобы отворотить от себя

несчастье, день и ночь не спит, слух и зрение, и все существо его постоянно бодрствует настороже, а в самую минуту опасности возьмет да и заснет, да как заснет? Как самый счастливый человек.

Вот точно так же теперь случилось и с нами. Время уже близилось к Рождественским святкам. Туман, как обыкновенно это бывает, завален был работой. Я даже на это время просил адъютанта, чтобы не тревожить его на учење; думаю себе: пусть человек при случае заработает себе какой-нибудь лишний грош. Вот однажды, отпустивши фельдфебелей, я, по обыкновению, закурил трубочку, надел архалук и пошел к Туману. Прихожу, он работает перед стеклянным глобусом; на столике в углу горит свеча и уже порядочно нагорела, перед свечой на столе лежит развернутая книга, а Варочки нет. Ну, что бы мне было догадаться и спросить, давно ли она вышла. Да что и спрашивать: нагоревшая свеча ясно показывала, что давно. А я еще снял со свечи и сел себе, ничего не подозревая, начал спрашивать Тумана, много ли он пар уже кончил, и сколько еще надеется кончить к празднику, и какую цену он берет: смотря по давальцу и лицу или со всех одинаково? На что он отвечал весьма основательно: «Однаково, бо одинаково и работаю». Потом, ни с сего ни с того, перешли к воспоминанию о заграничных наших похождениях, потом о тульчинских маневрах и, наконец, свернули речь о покойном Володе. «Да, — говорит Туман, — недаром сказано: волос довгий, а розум короткий. И то сказать, — прибавил он, — молоде, дурне, а може, ще и сирота, доглядить було никому». И он взглянул на то место, где должна была сидеть Варочка. Он заметно изменился в лице, не сводя глаз с догоравшей свечи и развернутой книги. «Не в чим не реве, аж ии и дома нема», — проговорил он едва слышно и, обращаясь ко мне, сказал: «Я думаю, чом вона не читає, аж ии и в хати нема». И он быстро встал на ноги и с работою в руках вышел из комнаты. Минут через десять он возвратился встревоженный. Я спросил у него: «Ну, что?» И он только шевелил губами, но слова произнести не мог; наконец кое-как шепотом проговорил: «Нема!» Я в свою очередь тоже вскочил на ноги и сказал ему: «Беги к фельдшерше». А сам наскоро оделся и пошел к городничему дать знать о случившемся и просить, чтобы он принял свои меры. Но что значила полиция в то время в уездных городах? Ровно ничего. Возвращаясь я домой, захожу к Туману, и, я думал, что он возвратился уже, — ничего не бывало: он, как я его оставил, так и остался на том месте, как окаменелый. Я спрашиваю его, был ли он у фельдшерши, и после нескольких повторений он мне едва проговорил: «Ни». Я оставил его и еще раз обошел все комнаты, раза два справлялся в людской, на кухне; я искал ее, как мы обыкновенно ищем затерянную какую-нибудь мелкую вещицу, раз десять в одном и том же месте. Посмотрел во всех углах, за комодом, под диваном и, убедившись наконец, что ее нигде нет, думал было лечь заснуть. Не тут-то было. Только что сомкну глаза, передо мною является или капитан, или Варочка. До самого свету корчился я на постели, как карась на сковороде. На рассвете я встал и пошел посмотреть, что Туман делает, потому что я его оставил ночью в самом жалком виде. Отворяю тихонько дверь и вижу в комнате едва мерцающий огненный свет, — это догорала свеча перед стеклянным глобусом; а по сю сторону того же глобуса на своем рабочем табурете сидел Туман, подперши голову обеими руками. Сначала я подумал — он спит, и хотел выйти из комнаты; но он поднял голову, посмотрел на меня и едва слышно проговорил: «Нема!» И так проговорил странно, что я не на шутку за него испугался. Он снова опустил голову на руки, а я тихонько вышел из комнаты, будучи вполне уверен, что никакое участие не в состоянии было разбудить его от этой страшной летаргии. А спросить бы в самом деле у психологов, каково действует на душу самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком теперь находилась душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полугоре на меня благодетельно действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие. А во время самого истинного горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша проникнуть не смеет, о, тогда всякое, самое нежное, самое искреннее участие делается лютейшею отравой. Вот почему я не решился утешать несчастного Тумана.

Пошел поутру к городничему узнать, не открылось ли какого следа. Дорогою повстречался мне знакомый и после первых приветствий спрашивает: «Как это так случилось, что у вас дворовая девка пропала?» Я не ответил ему ни слова, воротился назад домой, к городничему незачем было ходить. И действительно, он только и умел сделать, что в тот же день благовестили во всех переулках о нашей покраже. После этого какой тут след откроешь?

Три дня и три ночи просидел несчастный Туман на своем табурете, не подымая головы. Я испугался и советовался с доктором, и благоразумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов. (А это было, как я уже сказал, зимою.) Я по части врачебных наук совершенно невинный и из усердия взял да и растворил тихонько и окно, и дверь. Проходит час, другой, я все заглядываю то в дверь, то в окно и думаю: что выйдет из этой операции? Смотрю, уже так будет перед вечером, Туман начал вздрагивать, а через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь, походил с полчаса по комнате, вздрагивая и едва слышно говоря: «От тоби й на!» Потом он лег или, лучше сказать, упал на свою койку, укрылся тулупом, и мне показалось, что он уснул. Я подумал: «Слава тебе, Господи!» И пошел тоже немного отдохнуть. Не успел я напиться чаю, денщик докладывает мне что: «Туман мечется, стонет и вас к себе просит». Прихожу я, спрашиваю: «Что с тобою, Якиме?» — «Ничего. Спина! Холодно! Душно! Що знаете, то те й робить!» Я вижу, дело плохо, послал за доктором, а сам остался с ним. Он несколько раз обращался ко мне и кричал: «Пить! Дайте пить, а то згорю!» Я подавал ему чайной чашкой квасу, и он немного успокоивался. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел на своего брегета с секундною стрелкою и сказал: «Горячка. Отправьте его сейчас же в госпиталь». Я его сейчас же и отправил.

Месяца два с лишним пролежал бедный Туман в госпитале. Сам лекарь начинал уже сомневаться в его выздоровлении, особенно в последние дни горячки или, как говорят, перелома болезни. Однако железная его натура превозмогла, и он к концу первого месяца мог уже без посторонней помощи вставать с постели, а к концу второго бодро уже гулял по коридору и все есть просил, в чем, разумеется, ему отказывали.

Я же во время болезни Тумана делал все, что мог сделать, чтобы открыть хотя темный след нашей беглянки. Я устроил своих лазутчиков, и самых неусыпных. Мне фельдфебеля каждый вечер доносили подробнейше о всех движениях капитана, — каждый шаг его был виден, был на счету у моих верных агентов. Но ни малейшего следа, как в воду канула. И не один я, а все в городе указывали на капитана. Да что ты станешь делать? Преступник налицо, а доказательств никаких. И поневоле злодея, зверя назовешь человеком.

Туман уже начал поправляться, когда из Владимира приехал жандармский офицер, взял нашего капитана и повез в Вологду. Я, однако ж, все еще не терял надежды; я написал частное письмо вологодскому полицеймейстеру, прося его, чтобы он уведомил меня, кто именно приедет с таким-то капитаном, и в особенности, в числе его прислуги не будет ли молодой девушки — тут я описал приметы Варочки. Через полгода, однако ж, не раньше, получил я письмо от вологодского полицеймейстера, в котором были описаны с большими подробностями как сам господин, так и его прислуга и, между прочим, горничный козачок Климка.

«Помянутый козачок Климка через четыре месяца бежал от капитана и теперь неизвестно где обретается. Вот все, что я могу вам, милостивый государь, сообщить о капитане. Девушки же, — продолжает он, — о которой вы пишете, никакой с ним не прибыло в наш город. Поговаривали сначала, что помянутый козачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. Я по тому сужу, что как бы ни был человек развратен, а все-таки не решиться на такое законопреступное дело. Да и то еще опровергает клевету сию, что у женщины, как у создания и физически, и нравственно слабого, не достанет духу на таковой

решительный поступок, как, например, бежать, на это и мужчина не всякий решится. Нахожу ненужным писать вам о капитане: уповаю, что вы его хорошо знаете. Разве только скажу, что он ни на волос не изменился».

Письмо, как обыкновенно, заключено искони принятою вежливостью, и больше ничего.

«Вологодский полицеймейстер должен быть простодушный добряк, — подумал я. — Как-таки можно не поверить [в] бабьи сплетни, как он говорит, на деле? Как можно было сомневаться в законопреступном поступке капитана, прочитавши его формуляр? А он, наверное, его читал. Простота, ничего больше!»

Что же мне теперь оставалось делать? Я вполне был уверен, что Климка-козачок — ни кто иной, как наша Варочка. Бедная! Она свою участь наследовала от своей матери. Как бы и ей не пришлось кончить, как покойница кончила. Но где она теперь? Сидит, я думаю, в пошехонской или в другой какой тюрьме да кормит вшей. А может, ее уже и на свете нет. После долгого раздумья решил я послать объявление в «Московские ведомости»; «Губернские ведомости» в то время еще не печатались. Сделавши это, я решил поделиться моими надеждами с Туманом. Решился, говорю, потому что Туман, хотя и совершенно оправился от горячки, и, несмотря на то, что восемь месяцев прошло с тех пор, как Варочка пропала, а он все еще был похож на помешанного. Он и до того был [не]речист, а теперь совсем онемел. Бросил свое ремесло и по целым дням просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся, чтобы он не начал пить. Однако ж, слава Богу, этого не случилось.

Я не утерпел, однако ж, предполагая, что надежда освежит его скорбящую душу. Однажды поутру, после рапорта о благополучии по хозяйству, рассказал я ему о моем открытии. Долго он стоял передо мною молча, опустя голову. Я прошелся несколько раз по комнате, он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы как горох покатались. Потом он вздохнул и едва слышно проговорил: «Капитанша!» И, поворотя налево кругом, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и горько раскаялся в моей опрометчивости.

Это было осенью. В полку были дозволены годовые и полугодовые отпуска. Туман на другой день приходит и говорит, что он представлен в отпуск на полгода, и просит меня, чтобы я не препятствовал. «Схожу, — говорит, — додому, чи не легче буде». — «Иди, — я говорю, — с Богом». И наказываю ему, чтобы, когда будет идти через Глухов, чтобы зашел на мой хутор посмотреть, что там делается: «Добре, зайду». Через неделю ему выдали билет, и он, простившись со мной, ушел.

Напрасно ожидал я результата от моей публикации, — ничего не вышло. Спустя месяца три после ухода Тумана в отпуск, в одно утро докладывают мне, что Туман приехал. Я удивился, что так скоро. Выхожу на двор, смотрю, из небольшой одноконь рогожаной кибитки высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину с ребенком на руках. Туман, увидя меня, весело проговорил: «Найшов! найшов! ваше высокоблагородие!» И действительно, это была Варочка. Но какая разница между прежней Варочкой! Обветренная, худая. Она отдала ребенка на руки Туману и, как помешанная, бросилась к моим ногам и зарыдала. Дитя проснулося на руках у Тумана и заплакало, и он, приголубливая его, понес в свою комнату. Я поднял рыдающую Варочку и повел ее вслед за Туманом.

На другой день Туман принял опять в свои руки мое хозяйство, и все у нас в доме пошло по-прежнему. Однажды после рапорта я спросил его, где он нашел свою Варочку? «Де найшов? — отвечал он мне. — В *Молози*, в тюрьме». Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом, но я знал, что он не охотник был до подробностей, то и не расспрашивал его.

Некоторое время Варочка никуда не выходила из своей комнаты, и даже от меня она пряталась; мне тоже как-то казалось неловко к ним заходить. У Тумана я каждый день спрашивал о ее здоровьи и о здоровьи дитяти, и он отвечал мне: «Благодарить Господа милосердного! Обое здорови». Я соскучился по Варочке, и однажды, отпустивши фельдфебелей, я зашел к ним в комнату, и, как прежде бывало, Варочка читала житие Варвары-великомученицы, а Туман сидел против нее и нянчил на руках Еленочку. Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину!

После моего визита, на другой день, Туман пришел ко мне по обыкновению и после рапорта сказал: «Ваше высокоблагородие! Я думаю ожениться, щоб люди головою не кивалы та пальцямы на нас не показувалы». «Благороднейший ты человек», — подумал я и в тот же день испросил ему у полкового командира позволение, а в следующее воскресенье я присутствовал на свадьбе Тумана в виде посаженного отца.

Варочка и после свадьбы долго еще все была грустная, задумчивая и никуда не выходила, кроме церкви. Тумана она по-прежнему называла своим татом и часто плакала, глядя на него, когда он ласкал ее Еленочку, как будто свое родное дитя. Мало-помалу она как будто начала забывать свое прошедшее, стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие, а потом и при мне. Белье мое и все, что требовало женского глаза, она взяла под свою опеку, и лучше и аккуратнее хозяйки требовать нельзя было. Однажды поутру приходит она ко мне с Еленочкой на руках, веселая такая, счастливая. Я предложил ей чашку чаю, посадил около себя и стороною повел речь о том, как она убежала и где была спрятана капитаном до поездки в Вологду? Сначала спросил я ее, бывает ли она у фельдшерши.

— Никогда не бываю, — отвечала она.

— Почему же ты не бываешь? — спросил я. — Вы были такие короткие приятельницы!

— Хороши приятельницы! Она гнусная, лукавая женщина! Если бы не она, я бы до сих пор ничего не знала. Это она все наделала. — И Варочка заплакала.

Немного погодя я сказал: «Да, таки порядочных хлопот ты нам тогда наделала. Бедный Туман чуть в могилу не отправился. Но я до сих пор не могу понять, где ты была спрятана, потому что я тогда все мышьи норки перерыл в городе. Расскажи, сделай одолжение, как это так случилось?»

— А вот как, — сказала она, утирая слезы. — Помните, в тот день первый снег выпал. Фельдшерша, будь она проклята, подговорила меня покататься с нею вечером; я и ушла к ней без спросу и свечу и книгу оставила на столе; думала: сейчас ворочуся, и никто не будет знать, где я была. Прихожу я к фельдшерше, а у нее самовар на столе. Она налила мне чашку чаю: чай был такой вкусный, что я попросила и другую, а потом и третью, и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. Я про все на свете тогда забыла. В это время против окон на улице остановились сани. Мы вышли, сели и поехали. Долго мы ездили по городу, так долго, что мне спать захотелось, и так захотелось спать, что я не помню, как я и заснула. Проснулась я в теплой комнате. Было темно, только в маленькие скважины сквозь ставни пробивался свет. Я стала припоминать вчерашнее катанье, но только и могла припомнить один чай и фельдшершу, и то, как во сне. Вскоре отворилась дверь, и ко мне вошла деревенская старуха со свечою в руках, и я спросила ее, где я? «У добрых людей», — отвечала она. «Как же я здесь очутилась?» — «Тебя на улице подняли: знать, шальные кони из саней выбросили. Не нужно ли тебе чего?» — спросила она, ставя на стол свечу. «Не нужно ничего», — отвечала я, и старуха взяла со стола свечу и вышла вон, защелкнувши на крючок двери за собою. Я все думала, где я и что со мною хотят делать? Долго я думала и, наконец, опять заснула. Когда

проснулась я во второй раз, то уже свету в скважинах не видно было, голова у меня не то что болела, а кружилась хуже всякой боли. Я стала плакать. Вошла опять та же самая старуха со свечой и начала меня утешать, предлагая мне чаю и разных лакомств. Я отказывалась и только просила ее, чтобы она сказала мне, где я. Спрашивала про вас, про тата, про город наш, далеко ли он. Старуха отвечала, что ни вас, ни тата не знает, а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. Потом предложила она мне чаю, я отказалась; предложила ужин, я тоже отказалась. И старуха зажгла лампадку перед образом и вышла из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к двери, но старуха успела их защелкнуть на крючок. Немного погодя послышался за дверью мужской голос. Голос был мне знакомый, но я не смогла припомнить, где я его слышала. Голос спрашивал: «Ну что, ей лучше теперь?» И старуха отвечала: «Все равно, батюшка, бредит и мечется». — «Ну, хорошо, — говорил тот же голос. — Я ей завтра лекаря пришлю». «Неужели это они обо мне говорят? Неужели я в самом деле нездорова?» — подумала я. Лекарь, однако ж, не приходил, и я успокоилась.

Долго, долго я сидела в этой проклятой тюрьме. Я чуть было с ума не сошла от скуки. Кроме отвратительной старухи, я во все это время никого не видала. Только уже за день перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша с узлом в руке. Я, как родной матери, обрадовалась ей. Она принялась меня утешать и сулить мне бог знает какие радости в будущем, с тем только, чтобы я во всем ей покорилась. Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась, но она пригрозила мне вечною тюрьмою, и я повиновалась. У ней с собою были ножницы, и она сейчас же остригла мои косы. Господи, как я тогда плакала! Потом вынула из узла мужское платье и одела меня, и только начала было восхищаться мною, как я хороша в этом наряде, как вошла старуха и сказала: «Приехали». Мы поспешно вышли на двор. Уже было темно. За воротами стояло две кибитки — одна большая, а другая поменьше. Усадила меня фельдшерша в большую кибитку, перекрестила, и лошади тронулись с места. А остальное вы уже знаете, — проговорила она и заплакала.

Вскоре началась польская революция, и нашему корпусу велено было двинуться в Литву. Я отослал, что было лишнее, к себе домой, на хутор, и уговорил Тумана, чтобы он и Варочку с ребенком отпустил ко мне на хутор с обозом. Он так и сделал. И мы двинулись в поход налегке. По окончании кампании я взял отставку в чине полковника, а в скором времени вышла отставка и Туману. И он пришел ко мне на хутор. Я думал было его сделать у себя приказчиком, но так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму, что около Эсмани, бесплатно, за прежние его услуги. И Викторкови моему завещал то же делать, когда меня не станет.

— Что я и [буду?] делать до конца дней моих.

Виктор N. N.

Прочитавши этот рассказ, я призадумался, и в воображении моем грубый ветеран-корчмарь переобразился в такого человека-христианина, как дай Бог, чтобы [все?] были хоть немножко похожи на него.

Отрадное это размышление прервано было восклицанием: «Черт знает что!» Дверь растворилась, и в комнату вошел мой приятель, держа в руках мою гармонику и повторяя: «Черт знает что! Я думал, что он ей что-нибудь доброе подарил? Полтина! Больше полтины не стоит». И увидя у меня свою рукопись в руках, как бы опомнился и сказал: «Что, какова повесть? Али ты ее еще не дочитал?»

— Как раз перед вашим приездом кончил, — отвечал я.

— Ну, как, по-твоему, стоит напечатать? или нет?

— И очень даже!

— Вот то-то и есть! А они, дурни, думают, что, не читавши ничего, то ничего и не напишешь. А вот же и написал.

— Позвольте мне переписать ее, так, для памяти? — сказал я.

— Вот еще, переписывать! Возьмите так, как есть, и хоть напечатайте ее. Только с тем, как я вам и прежде говорил, чтобы не выставять моего имени.

Я дал слово. На дворе уже было темно. Напившись чаю, мы поговорили еще немного, оделись и поехали в город, в исторический Николаевский собор «Деяния» слушать.

После заутрени приятель мой поехал к себе на хутор, как он говорил, по хозяйству распорядиться и, как после оказалось, затем только, чтобы соблюсти долг приличия, т. е. натянуть фрак на независимые плечи. Я же, как никого не имел знакомых и не имел охоты знакомиться, то нашел эту церемонию лишнею и остался в городе во ожидании обедни. Погода (что весьма редко случается в это время года) стояла хорошая, улицы были почти сухи, и я пошел шляться по городу, отыскивая то место, где стояла знаменитая Малороссийская коллегия и где стоял дворец гетмана Скоропадского, тот самый дворец, в котором он чувствовал Данилыча, когда он заехал поблагодарить гетмана за гостинец, т. е. за город Почеп с волостию, а Данилыч, не будучи дурак, да к Почепской волости и отмежевал посредством немецкой астроябии сотню Бакланскую, Мглинскую и половину Стародубовской, да и заехал в Глухов благодарить гетмана. А простоватый Ильич, ничего не ведая, знай угощает своего светлейшего гостя, аж поки светлейший гость, в знак благодарности, велел скласть на площади против дворца каменный столб и вбить в него пять железных спиц: одну для гетмана, а прочие для старшин, если они хоть заикнутся перед царем про немецкую астроябию. Однако ж старшины не устрашились и, будучи в Москве, пожаловались на грабителя, за что наперсник и был штрафован.

Но где же эта площадь? Где этот дворец? Где коллегия с своим кровожадным чудовищем — тайною канцеляриею? Где все это? И следу не осталось! Странно! А все это так недавно, так свежо! Сто лет каких-нибудь мелькнуло, и Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым пошлым уездным городком.

Благовест к обедне прервал мои невеселые вопросы, и я, перекрестясь, пошел в Николаевскую церковь, один-единственный памятник времен минувших. На площади догнал я чумацкий воз, везомый парюю великанами, серыми волами. В возу сидели две женщины в белых свитках — одна в лентах и в барвинковых цветах, а другая повязанная шелковым платком. Рядом с волами шел высокого росту мужчина в черной кирее и черной же смушевой шапке, с *батогом* в руке. Из воза выглядывал еще белый большой узел; это была завернутая в белую скатерть пасха со всеми принадлежностями.

Поравнявшись с возом, я немало удивился, узнавши в путешественниках моих старых знакомых — Тумана и его фамилию. Волы остановились, я со всеми ими похристосовался. И, беседуя о том, что Бог послал погоду и день такой хороший для такого великого праздника, мы тихонько приблизились к церкви.

После обедни на цвынтари, или на погосте, приятель мой не без умиления облобызал дюжины

две православных христиан и христианок, взял меня за руку и подвел к только что вышедшему из церкви небольшому толстенькому человечку в губернском мундире, с румяным добродушным лицом, и, похристосовавшись с ним, сказал, указывая на меня: «N. N. такой-то». Я поклонился, а приятель прибавил: «Карл Самойлович Стерн, эскулап наш уездный. Ему так нравится наш истинно христианский обычай, что он каждый год надевает мундир и является к обедне. Собственно для этого праздника хочет принять нашу православную веру, — да нет, я думаю, соврет. Извини, Карл Самойлович!» Немец добродушно улыбнулся, и мы расстались.

Приехали мы на хутор, и я, войдя в комнату, или в светлицу, немало удивился, не видя ничего такого, чем бы можно было разговестись. Хозяин, заметя мое удивление, вывел меня в сени и молча показал на небольшую дверь, ведущую, как я думал, в сад. Я отворил дверь, и изумленным очам моим представился не сад, как я воображал, а огромный дощатый сарай с маленькими окнами, примкнутый к самому дому. Это была зала пиршеств, как я после узнал. Посередине сарая стоял бесконечный стол, покрытый белой скатертью. И, Боже, чего на этом столе не было! И все это было в самых гомерических размерах. Бабуся, вертевшаяся около стола, казалась мухой против колоссальной пирамиды из теста, называемой паской. По сторонам пирамиды, как египетские сфинксы, по несколько в ряд лежали не поросята, а целиком зажаренные огромные кабаны с корнями хрену в зубах. И все прочее в таких размерах, даже водка и сливянка стояли по краям стола в больших барылах (бочонках), покрытых салфетками. Словом, все было циклопически, так что, если бы проснулся великий слепец хиосский, так и он только бы ус покрутил, больше ничего. Да, может быть, подумал бы, что на хуторе ждут Кадма с товарищами.

Хозяин, ходя по зале (так называл он сарай), поглядывал то на стол, то на меня и самодовольно улыбался.

«За чем же дело стало? Чего тут еще недостает? — думал я. — Можно бы, кажется, приступить и к делу, или он кого дожидает?» Я хотя и не был голоден, но и равнодушно не мог взирать на все сии блага, особенно на поросю и на бабу, — точно московская кубическая купчиха, белая, румяная, — ну так бы и проглотил всю разом. А хозяин, как ни в чем не бывало, ходит себе да только улыбается. Полчаса, если не больше, прошло в ожидании. Я начал уже припоминать анекдот про царя и его любимого боярина, как тот верный боярин проворовался в чем-то перед царем. Добрый царь не хотел для открытия истины употребить в дело огня и железа, а продержавши суток с трое в темнице без хлеба и воды своего верного боярина, потом велел подать себе мису добрых щей, жареного поросенка и позвать боярина к допросу. Что же вы думаете? За ложку щей да за хвостик поросенка во всем боярин повинился. Вины, правда, я за собой никакой не признавал, но мне неволью думалось, не хочет ли приятель мой и надо мной такую штуку выкинуть, как тот царь над своим верным боярином. Так в чем же я перед ним провинился? В эту самую секунду дверь отворилась, и вошла в залу бабуся с тарелкою в руках; в тарелке была священная вода и кропило из сухих васильков. Входя в залу, бабуся скороговоркою сказала: «Уже на гребли!» Приятель мой вышел в сени. Вскоре послышался на дворе стук колес, и минуты две спустя вошел в залу священник при епитрахили, сопровождаемый хозяином и церковниками. За клиром вошел Туман с своими домочадцами, а за Туманом чинно, без шума, разглаживая усы, пошли мужички и через минуту наполнили собою весь сарай. После священнодействия священник, а за ним хозяин, а потом уже я похристосовались со всеми предстоящими и, разговевшись кусочком черного хлеба, приступили, кто к чему имел поползновение. Теперь только объяснилось, для чего в таких гигантских размерах было приготовлено съедобное и спитобное. Приятель мой (за что я с ним десять раз похристосовался) буквально следовал слову златоустого витии и любви и смирению первобытных христиан. Тут не было раба и владыки, тут был самый радушный хозяин и самые нецеремонные гости.

Проводивши священника и крепостных своих гостей, он усадил за стол меня, Тумана с фамилией и сам сел между нами, сказавши: «Оттепер разговеемся!» Против меня сидела Еленочка с матерью, и теперь только я рассмотрел с должным вниманием, — это была настоящая, только-только что расцвевшая красавица. Густые темно-каштановые волосы, заплетенные в две косы и перевиты [е] зеленым с синими цветами барвинком, придавали какую-то особенную свежесть ее изящной головке. Тонкая белая рубаха с белыми же прозрачными узорами на широких рукавах ложилась на плечах и на груди такими складками, какие не снились ни Скопазу, ниже самому Фидию. Словом, передо мною сидела богиня красоты и непорочности. Рядом с Еленочкой сидела мать ее, когда-то Варочка, а теперь Варвара Ивановна, как называл ее сам хозяин. А около нее сидел Туман, с улыбкою покручивая белые усы свои. Я смотрел на него не как на простого корчмаря-ветерана, а как на рыцаря великих нравственных подвигов, как на человека-христианина в самом обширном смысле этого слова. И, признаюсь, завидовал ему. Он в моих глазах казался совершенно счастлив, да иначе и быть не могло. Человек, так высокоблагородно исполнивший свои обязанности в отношении к ближнему, даже в нищете и одиночестве должен быть счастлив. А его старость была окружена достатком и самыми искренними, самыми нежными друзьями. Не случалось мне видеть такого изящного произведения скульптуры или живописи, которое так бы успокоительно-сладко привлекало мои глаза к себе, как кроткое, спокойное лицо этого седого доблестного героя добродетели. Озеров вполне чувствовал эту прелесть, сказавши устами Эдипа:

Мой не увидит взор
Ни мужа кроткого приятного чела,
Которого рука богов произвела.

Встали мы из-за стола тихо, скромно, как будто из-за обыкновенного обеда, помолились Богу, и Туман, взявши свою смушевую шапку, взглянул на жену и стал прощаться с хозяином. Туман вообще неговорливый, но на этот раз он был совершенно немой за столом. Я думал было завести разговор о Блюхере или о Бонапарте, но, взглянув на него, мне мысль моя показалась просто тривиальной. Одно-единственное слово, что я от него услышал, и то уже на дворе: когда он посадил свою фамилию в чумацкий воз и волю тронулись с места, то хозяин, стоя на пороге, спросил его: «Так на Фоминой, батьку?» — «Эге», — ответил Туман и пошел за возом.

Вечеру, за чаем, приятель мой вопреки своей натуре был задумчив Я сделал ему каких-то два-три вопроса, да потом и себе начал барабанить по столу пальцами. Уже бабуса и свечи подала, уже убрала и самовар с принадлежностями, а мы все сидим, не двигаясь, да барабаном по столу. И не знаю, долго ли бы продолжалось это барабанное упражнение, если бы я не вздохнул, так себе, от нечего делать. Приятель мой поднял голову, взглянул на меня и засмеялся. Насмеявшись досыта, сказал он:

— Послушай! Мое дело хозяйское, мне есть о чем задуматься и вздохнуть. Ну, а ты какого черта вздыхаешь?

— Хозяин невольно передает свои впечатления гостям, — отвечал я.

— Правда, правда твоя! А знаешь ли что?.. — проговорил он и замолчал.

— Буду знать, коли скажешь.

— У меня к тебе великая просьба есть. Дай слово, что исполнишь, — скажу.

— Дам слово, если скажешь, какая просьба.

— Прогости у меня до Фоминой недели.

— Не могу.

— Вот то-то и есть. Заставил меня открыть секрет, а теперь и назад. Это не похоже на порядочного человека!

— Какой же тут секрет? — спросил я.

— А такой секрет, — отвечал он, подумавши, — что на Фоминой неделе я думаю венчаться, а тебя прошу быть у меня шафером, или, по-нашему, боярином. Ну что, согласен?

Я, как был в то блаженное время человек совершенно независимый, то, не долго думая, и сказал ему: «Согласен».

— Вот это по-дружески! — говорил он, пожавши мою руку так по-дружески, что я чуть не закричал.

— Теперь же ходимо вечерять! — прибавил он, вставая. Тучная вечеря и нелицемерное возлияние развязали язык

моему приятелю и открыли его сердечный тайник. Он сначала высказал мне свои самые естественные понятия о семейной и политической жизни человека, о его назначении вообще как создания прекрасного и разумного, и как он может быть независим, а следовательно и счастлив в своей кратковременной жизни, ни малейше не нарушая гармонии общества себе подобных. Он так увлек меня своими суждениями, что я в нем начал видеть самого натурального, самого естественного мудреца, чуть ли не выше самого Сократа. Но как мудрецу и вообще человеку трудно и, кажется, вовсе невозможно указать самому точку, через которую не должно переступать, то и приятель мой незаметно перешел к утопии и начал мне доказывать, что грамотность, особенно в женщинах, особенно вредит благополучию человечества. Я думал было, что источник такой идеи было вино, обильный источник сливянки, пока он не заключил своих доказательств такими словами:

— Я надеюсь, и не без основания, что я буду совершенно счастлив с моей женою, и именно потому, что она неграмотна!

— Ты — может быть, но этого нельзя сказать про многих, и я первый не скажу про себя.

— Потому что многие, в том числе и ты, ничего больше, как нравственные уроды.

«Вот тебе й на», — подумал я и, помолчавши, спросил:

— Как твой старший боярин, имею ли я право спросить у своего князя, кто же это такая будущая счастливая княгиня?

— Секрет, до последнего дня секрет! А то ты, пожалуй, станешь меня разочаровывать.

Долго мы сидели за столом молча, изредка поглядывая друг на друга и на бутылку со сливянкой, и, когда увидели, что на сухом дне бутылки ничего достойного внимания не оказалось, встали из-за стола и, выразительно пожавши друг другу руки, пошли спать.

В продолжение недели мы с приятелем закусывали, завтракали, обедали, вечеряли и спали.

Много и много переговорили мы о разных совершенно посторонних предметах, в том числе и о современной литературе, за которой он, как и всякий порядочный человек, следил довольно внимательно, что меня немало удивило, потому что я, кроме варварского перевода басен Федра, ни одной книжки не видел в его доме. Кроме современной литературы, у нас часто заходила речь о тонкой современной политике *Меттерниха*, но о предстоящей свадьбе ни полслова. Я раз было, вопреки вежливости, заикнулся о сем щекотливом предмете, но приятель мой был нем, аки рыба, приказал заложить бричку и, не сказавши мне до свидания, сел и уехал, Бог его знает куда.

Прошла, наконец, бесконечная для меня Святая неделя, прошла и половина Фоминой. Приятель мой уехал в среду поутру и пропадал до самого вечера. Возвратясь ввечеру домой, он молча надел фрак, причесался, посмотрел в зеркало и сказал, обращаясь ко мне: «Я готов. Одевайся скорее, поедem». Я тоже оделся. Сели в бричку и поехали в город прямо в Николаевскую церковь. Церковь была освещена, священник в облачении, посередине церкви нагой, а дьячок, разглаживая усы, чуть-чуть не возглашал «Исаия, ликуй». Не успел я осмотреться, как двери растворились и вошла Еленочка, сопровождаемая Туманом и матерью. Войдя в церковь, она перекрестилась, смело подошла к нагому и стала на свое место. Я, когда увидел ее поближе и ярче освещенною, так только ахнул: так она была торжественно прекрасна. Обряд кончился, и я не без зависти поздравил моего счастливого приятеля с новой жизнью, с новой радостью. А на другой день, поблагодаривши за хлеб-соль моего приятеля, я уехал в Киев.

Джерело: *Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 290-340.*

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/kapitansha